



КАЗАЧЬИЙ РОМАН

# АТАМАН ПЛАТОВ



П. КРАСНОВ  
В. БИРКИН

Казачий роман

Петр Краснов

**Атаман Платов (сборник)**

«ВЕЧЕ»

2008

## **Краснов П. Н.**

Атаман Платов (сборник) / П. Н. Краснов — «ВЕЧЕ»,  
2008 — (Казачий роман)

Два исторических романа, включенные в данную книгу, связаны незримой нитью времен. Атаман Платов, в молодости возглавивший легендарный поход в Индию, прерванный из-за смерти императора Павла I, вошел в историю как герой Отечественной войны 1812 года. Имя атамана, храбрость, воинское умение и везение приводили в ужас противников. Герой романа Василия Николаевича Биркина – ветеран Русско-японской войны – не ищет спокойной жизни, а записывается добровольцем во 2-й кавказский саперный полк и едет служить в бурлящий страстями Тифлис, где набирает ход кровавый маховик революции.

© Краснов П. Н., 2008

© ВЕЧЕ, 2008

# Содержание

Атаман Платов	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
I	5
II	11
III	15
IV	19
V	27
VI	30
VII	32
VIII	38
IX	42
X	45
XI	50
XII	55
XIII	61
XIV	63
XV	70
XVI	74
XVII	80
Конец ознакомительного фрагмента.	83

# Петр Краснов, Василий Биркин Атаман Платов; Осиное гнездо

## Атаман Платов

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I

*...С французами у нас колеблется и так и сяк, но кажется, война будет неизбежна, знайте это для себя, ибо есть о сем секрет...*

*Письмо Платова к Кирсанову,  
17-го августа 1811 г. из СПб.  
Военно-Ученого Архива. Дело № 1835*

Зимой 1811 года в одной из изб Старочеркасской станицы за сулейей вина собралось знатное общество. Два седоусых полковника – Сипаев и Луковкин, в расстегнутых мундирах, есаул-атаманец и молодой казак, не по форме, по-домашнему одетый, бледнолицый и худощавый, по фамилии Каргин, Николай Петрович, сидели на накрытых коврами лавках, судили и рядили о разных делах, время от времени окуная длинный ус в самую середину серебряной кружки или бокала заграничной работы.

Иногда дверь отворялась, и Марья Сергеевна, жена полковника Луковкина, входила с подносом, уставленным чарками с вином и наливкой, и, кланяясь в пояс гостям, обносила их винной брагой, приговаривая нараспев:

– Чарочка-каточек, катись ко мне в роточек, чарочка-каток, катись ко мне в роток.

Тогда гости брали чарки и быстро осушали их, мощно крякая и рукавом шитых мундиров утирая усы. Один Каргин не пил. При каждом появлении жены Луковкин хмурил брови и сердито смотрел в сторону. А появлений таких, надо думать, было уже немало, по крайней мере, лица гостей раскраснелись, споры стали оживленней, речи звучали громче.

– Я тебе говорю, Федор Семенович, – хватая за рукав Луковкина, говорил Сипаев, – что это не мир, а позор для России. Что «они» под Фридландом глупили, так это не есть оправдание, чтобы мир заключать. А Тильзит – безобразие! И наш Матвей Иванович то понял... Ты слышал, чай, что он во дворце сделал?

– Ну? – сердито спросил Луковкин.

– Когда ему, значит, в Молдавскую армию отъезжать, был у Коленкура большой обед.

– Стой. Что за птица такая Коленкур?

– Вот то-то что птица! Бонапартов посланник при нашем дворе.

– Так. Ну, дальше?

– Да, так вот был у него большой обед по случаю получения портрета Бонапартова в короне и с порфирой, Барклай был, еще много знатных персон собралось. Ну, а Матвея Ивановича ты знаешь – он ведь как ляпнет, так топором ровно обрубит, да на всю залу при этом голосок-от, значит, командный. Вошел он в залу, огляни портрет, да и молви: «Эким шутлом написан...» Ну, сам знаешь, какая тамоха<sup>1</sup> поднялась. Шу-шу, шу-шу, то, другое, тре-

---

<sup>1</sup> Тамоха – суматоха, беспокойство, тамошиться – беспокоиться.

ть... Коленкуру... а тот, французская лиса, сейчас и до государя. Так и так, ваше величество, оскорбление и прочее. Мы, говорит, дружеской державы, вы, говорит, братьями именуется, не могу, говорит, допустить этойкой позор для французской короны..

– А, ты, егупетка подла<sup>2</sup>, – сорвалось с языка молчавшего до сих пор и сидевшего в углу атаманского есаула.

– Государь осерчал. Послали за Матвеем Ивановичем. Является: кавалерия на груди, бриллиантовая сабля, что матушка Екатерина пожаловала, у бедра, – словом, со всем причиндалом. Говорил ты то и то? – спрашивает государь. «Говорил, государь. От твоей царской милости не скрою. Я давно отказывался от его иноземной хлеба-соли. Мы не рождены для супов; щи да каша солдатская еда наша». Вот каково отпалил.

– Важно. Его взять на это. «Притворный» он человек. Слыхал, ведь Дон под турецкого султана отдать хотел.

– Брешут.

– Видно, не брешут, коли в крепости сидел Матвей Иванович.

– Так то облыжно говорили, с того и сидел.

– Нет, брат, дыма без огня не бывает!

– Слушайте, – тихо, озираючись, сказал Сипаев, – а вы думаете, Черкасск-то зря перенесли на новое место? Что там – ни земли, ни воды – гора, пустота, пакость одна. А ведь перенесли, да и только, и разговору нет. Смекаете зачем?

– К имени Мишкину ближе ездить, недалече лошадей гонять, – мрачно молвил есаул.

– Ах вы, фармазон вы настоящий. На своего шефа этакое подозрение!

– Мне предположительно, что просто не смекнул Матвей Иванович, что там худо будет, вот и перенес он нашу столицу. Военного ума да хитрости у него палата, а гражданской сообразительностью, видно, Бог обидел.

– Тоже фармазон, – сказал Сипаев. – А невдомек вам, что для того удалил он нашу столицу от реки и от моря, от дорог на Россию, чтобы удалить нас от невоенного влияния России, чтобы сомкнуться в тесной казачьей семье и не принимать иногородних<sup>3</sup> обычаев! – с жаром воскликнул седуусый полковник и ударил кулаком по столу.

– Вздор, – громче прежнего сказал Луковкин, – полки наши расползлись, как сильные котята от матери, по всему миру крещеному. Сегодня в Вихляндии, на завтра под немца, в Итальянском королевстве были – сам ты пьешь из венецейских бокалов, что привез из Лозанны, дочь твоя по старине ли воспитана? С любым казаком заговорит, и белоручка при этом. Клави-корды ей выписал, французин-ку приставил, лопочет на заграничный манер... Да и сам Матвей Иванович – ристалища да погулянки делает, из «стенки» забаву устроил! Какое же тут охранение. Поздно!

– Он хорошее переймет, а худого не тронет.

– Не тронет. Что посты-то блюдет да штаны широкие носит, то и казак! Нет, казак, по мне, не в штанах; казака хоть гусаром выряди – он все одно казак, и все... Теперь вот чекмени пошли форменные, шитье дали, кивера, что же, разве хуже с того стали казаки? Попомни, в седьмом году под Алленбургом, на Пассарге, разве Степан Федорович Балабин не вел на победы их? – кивнул Луковкин на атаманского есаула, который самодовольно покрутил ус. – А Рассеватское дело в Турции, а под шведом?

– Все это верно, но только зря мы приняли шитье это да кивера великороссийские. Сегодня кивер, а завтра в регулярство писать станут. Вот ты говорил про Матвея Ивановича, что недалекый он человек, нет, он дальше нашего видит. Он это знает. Он и рейтузы наденет, а солдата из казака не позволит сделать.

---

<sup>2</sup> Егупетка – характерное ругательство.

<sup>3</sup> Все неказаки (преимущественно русские) носят название иногородних.

– Ладно. Прикажут, и сделает.

– Матвей-то Иванович?. Ты посмотри на него. Да спроси любого казака про него. Это обаятельный человек. Что, малолетка, Николай Петрович, верно я говорю?

Вспыхнул весь Каргин. Никогда не доводилось ему со стариками беседовать. Встал он с лавки и нежным, певучим голосом заговорил:

– Атаман наш? Жить за него и умереть. Видал я его еще мальчиком. В голубом мундире, на сером коне проезжал он по Черкасску. Я в айданчики с Петей Кумшацким играл. Подъехал ко мне – а я шапку снял. «Добрый казак будешь – служи!» – сказал, да так глянул! Всего меня светом так и озарило – и ясно, и истово хорошо стало у меня на душе. Так бы вот и служил, все и служил! И турка бы бил, и француза, и всех, всех, кто враги!

– Что же не служишь? Ведь восемнадцатый пошел?

– Куда. Деятнадцать по весне будет. Отец не велит. Учили меня много. Немца и француза приставили, а теперь, говорит, в университет в Москву отвезу – образованные люди, говорит, на Дону нужны. Ну, а мне куда же. Супротив отца пойдешь разве?

– Конечно, идти не след, – сказал Сипаев.

– Вот еще «письменный» человек – его отец, – кивнул Луковкин на Каргина. – Так ты в Платова влюблен? А Маня Сипаева?

Пуще прежнего вспыхнул молодой казак, даже слезы выступили на глаза.

– Ишь, краснеет-то как! Словно девушка-невеста.

– Ну, не мучьте его, – промолвил атаманец, – мы с ним в заговоре. Ведь да?

– Да, если бы вы были такой добрый.

– Ладно, ладно, – махнул рукой есаул и опять прислушался к спору стариков.

– Тильзит, – хрипло кричал Сипаев, – позор! Фридланд – поражение! Да-с.

– Фридланд – ошибка в выборе позиции и славнейший день всей кампании.

– Славнейший! Бреши! Ты вот спроси у атаманца, что после-то было. Бегство, позор. Да... Вот спроси, спроси Зазерскова.

– Что я буду спрашивать, – громовым голосом на всю избу кричал Луковкин, – российская победоносная армия никогда не бежала. А что позиция была выбрана плохо...

– Нет. Не позиция, а то, что рано нам с Бонапартием биться – он сила!

– Однако в Италии мы били его. Сам был, знаешь.

– Эка хватил: в Италии! В Италии Александр Васильевич Суворов – сила был. Сокол!

– А нонеча – Платов.

– Платов и Суворов? Атаманы-молодцы, послушайте – ну, не спятил ли старец с ума?

– Спятил?! Ты глаза-то налил да и говоришь: «Спятил!»

– Не ты подносил; свое пил.

– А ты пей, да разум не теряй. Суворов – это гений на весь мир!

– Постой, Суворову-то что, лет семьдесят было, да притом он русский, ему ход давали, а Платов опальный, да еще казак.

– Это верно, – сказал Зазерсков, – казаку ходу нет и не будет.

– Бреши! Ермака Тимофеевича за Сибирь Доном пожаловали!

– Да видал он его? А? А где выборный атаман? Пугачев-то чего боялся, забыл? В регулярство писать думали.

– Фармазон!

– Нет, коли на то пошло – сам ты фармазон. Сейчас видать верховую сипу<sup>4</sup>.

– Эй, Алексей Николаевич, зачем лаешься – грех.

И долго еще шумели бы казачьи половники, да дверь отворилась, впустив за собою струю пара, и черноволосый и черноусый, в зеленом мундире с Екатерининской медалью на шее,

---

<sup>4</sup> Сипа – характерное ругательство низовых казаков, которое применяется к русским офицерам.

вошел генерал-майор Иван Кузьмич Крутов. Сняв папаху, запорошенную снегом, с черной головы, он весело крикнул:

– Замолчи, честная станица!

Спорщики замолчали и поднялись навстречу лихому донскому генералу.

– А, ваше превосходительство, честь и место!

– Манжете<sup>5</sup> и пивате?

– Есть немного. Не побрезгуйте, ваше превосходительство. Эй! Марья Сергеевна – вина!

– Челом бью хозяйке, – сказал Крутов и поклонился в пояс жене Луковкина.

– Ну, что, по старине? Чарочка-каточек?..

– По старине, Иван Кузьмич, – развязно улыбнулась казачка.

– Ах, старина, старина! – вздохнул Крутов. – Последние времена настали, а тут по старине, говорите. Комету видали?

– Ну, что же комета? Это от Бога.

– От Бога-то от Бога. Да был я сейчас у Хрисанфа Павловича Кирсанова. Сказывал мне: письмо он от атамана из Питера получил. Пишет, с Наполеоном у нас и так, и сяк, однако готовьтесь, и чтобы коши<sup>6</sup> исправны были, об весне как бы не в поход.

– Вона! – протянул Сипаев, а за ним и Луковкин повторил то же восклицание. – А у нас-то и полки по станицам распущены... Плохо дело. Опять скомплектовывать будут.

– Наши уже собираются на Красный яр, – сказал есаул-атаманец.

– Ваши! Ваши в первую голову... Ну, довольно об этом! Война так война. А у вас что за сбор?

– Это наше кумпанство.

– Ну, где кумпанство, там и пьянство, а где пьянство – там и веселье. Верно?

– Верно, – в голос ответили гости.

– Ну-ка, есаул, ваших александровских песенников нельзя ли? Скомандуйте-ка, батюшка.

Есаул поднялся.

– Слушайте, дорогой, еще бы и за Балабиным послать, – сказал Луковкин, – да, может, и других, кто дома, а, на огонек? А у нас икра есть ловкая, да звена два осетринки, да кто не постится – хозяйка моя живо индюка бы зажарила. А и индюк же ва-ажный! Сам Наполеон такого не едал.

Не прошло и полчаса, как небольшая полковничья изба стала наполняться народом. Пришли офицеры-атаманцы, пришли старые полковники, а несколько минут спустя дверь в соседнюю комнату открылась и на фоне стены, сплошь увешанной коврами, сбруей и старинным оружием, показались синие кафтаны атаманских песенников.

Высокий, черноусый урядник тряхнул кудрями и, обернувшись к казакам и высоко подняв плетль над головой, вдруг сразу оборвал ее книзу – и дружно хватили песенники:

Чарочка моя, серебряная,  
На золоте расписанная.  
Кому чару пить – тому здраву быть;  
Пить чару – Ивану,  
Здравому быть – Кузьми-ичу,  
А мы ему здравия жа-ла-им,  
За его здоровьице пьем-гуляим,  
За его дела, за хорошая.

---

<sup>5</sup> От французского *m a n g e r* – есть, кушать.

<sup>6</sup> К о ш – обоз; от него же – кошевой атаман.

За его дела прокричим ура,  
Ура, ура, ура, ура!

Громовым «ура» наполнилась горница. После Крутова пели «чарочку» хозяину Луковкину, потом Сипаеву, Балабину, Зазерскову, – даже молодого «вольного» Каргина и того не забыли...

И не прошло и полчаса после прихода песенников, как под звуки рожков и тарелок, под залихватскую песню про нанну-паненочку седой Сипаев отхватывал вприсядку, стоя напротив Зазерскова, который так и гремел шпорами по дубовому полу горницы и, распахнув грудь узкого чекменя, показывал вышитую рубашку и черную волосатую грудь...

Кругом с бокалами и стаканами толпились молодые и старые офицеры, а залихватский напев разносился по горнице, заставляя дребезжать стекла, изукрашенные морозным узором.

Каргин встал потихоньку, протискался сквозь ряды казаков-песенников и вышел на улицу.

Прежде всего поручив зазевавшемуся у ворот хлопцу вызвать есаула Зазерскова, он приказал принести себе шубу.

Ночь была тихая, морозная, звездная. Темно-голубое небо величаво раскинуло покров свой над землей, покрылось мириадами звезд и звездочек и, блестя и искрясь, отразилось тысячами бледных точек в снежном покрове туманной земли. Тихо все в станице. Ни фонарей, ни панелей. С боков наезженной по глубокому снегу ухабистой дороги протоптаны тропинки, где вдвоем с трудом можно идти. Впрочем, у полковницкой хаты сделана даже дорожка и песком посыпана – словно чуял полковник, что нетвердыми ногами будут расходиться гости по скользкой дороге.

Станица и спит и не спит. Тихо на улицах. Брехнет собака раза два, и опять тишина, и опять ничего не слышно. Только лунный свет струится сверху и обливает зеленоватыми тонами и крутые крыши, и белые стены казачьих мазанок. Но станица живет. И эта внутренняя жизнь сказывается в ярком свете, льющемся из окон, в красных четырехугольниках, что клинами легли по улице, показывая, что всюду своя жизнь, свое общество.

– Ну, что, молодой? – хлопнув Каргина по плечу, сказал есаул-атаманец. – Слыхал, война, говорят, будет?

– Дай-то Бог! – с жаром отвечал молодой казак.

– Не гневи Бога! Трудно казаку на войне – с нею всех потянут, а поклепам конца не будет. Кто ни воруй, кто ни мародерствуй – непременно на казака скажут. Потому такое убеждение: воры казаки.

– Да ведь и то правда. Наш брат ловчей на этот счет будет. Регулярные, те мешковаты; тот пока соберется да оглянется, а казак уже и взял...

Прятели помолчали немного.

– Слушай, Николай, неужели ты так и решился против отца идти на службу, вместо того чтобы в университет?

– Да. Решил, и твердо решил.

– Плохо твое дело. Без родительского благословения кто тебя примет?! А потом и то расуди: к чему тебе воевать. Мало нашего брата гибнет во славу Тихого Дона?! Одним больше, одним меньше – войску прибыток не ахтительный. А ты у нас по всему Черкасску разумник – о двух языках разговоры разговариваешь, сказывают, до звезд доходил, какая планида что обозначает, знаешь, – тебе надо непременно идти в Москву – там в университете ты все преуспеешь, пойдешь по гражданским делам... Все чиновник у нас свой будет казак...

Зазерсков помолчал немного и потом продолжал:

– Я много видал и городов, и людей. Помню, в Пруссии были, в Туретчине, под Оренбург ходили. Видал я Варшаву, видал я поляков там – всякий народ себя знает. Спросишь у них, у

офицеров ихних, кто теперь царь – назовут, скажут и кто раньше был, и как тогда люди жили, какие были законы, куда ходили, с кем торговали – а у нас... Что старики помнят – знаем, и то всяк по-своему толкует, потому что всякий себя умней других считает. Слыхал сейчас – Платова рядят и так, и этак; один говорит Фридланд – победа, другой – поражение.

– А по-твоему, как?

– По-моему... Да и сам не знаю. Что потом быстро отступали – верно, а что было, почему отступали – почем знаешь.

– Ты думаешь – ты в армии будешь персоной? Нет, шалишь, брат, – песчинка, нуль... Среди генералов-то наш Матвей Иванович еле приметен, а по Дону-то ровно солнце красное светит. Но дальше слушай – ну, кто мы такие, донские-то казаки? Немец он немец, у него вера немецкая, и язык свой, и все, а мы? Говорим по-русски, вера православная, а назовешь русским – обижаемся. Вот и справься здесь. Ах, был бы умный-то у нас да ученый человек, до всего дотошный – он бы все это досконально разъяснил. Во Франции, говорят, такую машину изобрели, что летать можно, а у нас на Дону-то слышал ли кто? Брось, Николай Петрович, свою затею служить – служба многому не научит...

– Слушайте, Аким Михайлович, ну как бросить? Что, я дерево, что ли? Кругом кишит жизнь. Об весну-то в степь выйдешь, а она так и звенит, и переливается от топота коней – то казачьи полки учатся. А как пойдут с ученья да по станице с гиком да с джигитовкой проскачут – аж захолонет все во мне, и бьется, бьется мое сердце... Или вечером соберутся старики на рундучке – полковники, есаулы – и говорят между собой про Бонапарта да про Платова, а мне хоть бы единым глазком посмотреть их да познать ту славу, которой гордятся казаки по Дону! А теперь в вольном-то платье, девушки надо мною смеются: казак, а не служит. И правда, смешно это... И не хорошо – неловко. На днях Марья Алексеевна и та посмеялась надо мною. «Вы, – говорит, – может, и на коне сидеть-то не можете...» Что ж, легко это мне? – с дрожью в голосе закончил молодой казак.

– Что же делать. Если отец не хочет...

– Что мне бачка?! Бачка боится, здоровьем я не силен – выправлюсь еще! Да, знаете, Аким Михайлович, как явлюсь я к бачке с Егорьем на груди да хорунжим, а может, и сотником – ей-Богу, простит. Засну я – а во сне так битвы и снятся. Атакой идут казаки: дротики повалены, копыя грозно так горят – проснешься, дрожишь весь, и страшно, и хорошо, и сладко мне...

– Проси бачку. Разрешит, и к нам тебя Балабин возьмет; нет, не будет благословения – никто не возьмет – сам знаешь: отца твоего уважают по всему войску – против него никто не пойдет.

– Ребриков взял бы меня наверное.

– Неужели он до сих пор в ссоре с твоим отцом? Молодой казак молча кивнул головой.

– Не в том у меня затруднение. Коня у меня нет, нет седла, нет всей sprawy казачьей.

– Ну, коли за этим дело стало – не беспокойся, я ссужу тебе и коня, и справу, и все...

– Правда, Аким Михайлович! Господи, какой вы добрый... Век буду обязан вам! То есть... – Каргин задыхался от счастья. – Я не знаю, что мне и делать, так хорошо теперь, значит, могу я успокоиться? Да? Совсем? И к Ребрикову в полк? Да?

– Обещал, так сделаю. Знаю, кто вас мутит тут всех... все вон кто!

Зазерсков показал на красивый двухэтажный дом неказачьей стройки, с тесовой крышей и с крылечком, с двумя пушками у входа. Домик был темный, и только два окна были ярко освещены. Из-за спущенных штор виден был свет, и лились дребезжащие звуки старых клавиш.

– Послушаем, – сказал Каргин, схватывая руку есаула и крепко сжимая ее.

– Ну, вы слушайте, а я мешать не стану, – сказал Зазерсков, пожал руку своему молодому приятелю и пошел дальше, ворча себе под нос ругательства против всех баб.

А Каргин долго смотрел ему вслед, и, когда наконец фигура есаула скрылась за поворотом, он быстро подошел к окнам и жадно прильнул к мелкому полузамерзшему переплету рамы.

## II

*Полно, брат-молодец,  
Ты ведь не девица,  
Пей, и тоска пропадет!*  
**Кольцов. Русская песня**

Марья Алексеевна Силаева воспитывалась совсем не так, как казачка. Отец ее, с Суворовым ходивший в Италию, приставил к ней гувернанток – немку и француженку, на московский манер, с невероятными трудностями доставил из Милана клавикорды и учил Марусю жить открыто и не боясь показывать свою девичью красоту.

Но не прельщали Марусю Вольтер, Мольер и Руссо, не нравились ей старинные рыцарские романы, и нехотя читала она отцу статейки «Северной пчелы» да «Донских ведомостей», что выписывал старый полуграмотный полковник. Она больше любила слушать таинственные восточные сказки, что рассказывала ей старуха туркиня; татарский язык предпочитала французскому, а на клавикордах вместо Моцартовых творений по слуху играла то заунывные, то удалые казачьи песни. Бублики и сухари, вишневка и сливянка, индюки и сазаны были дороже ей уроков грамматики, и, когда отца не бывало дома, книжки забрасывались, и француженка с немкой часами возились у плиты с молодой казачкой, поучаясь русской кухне, или учили ее делать стрищели и всякие шманд и пффефферкухены. Эта наука живо давалась Марусе, не то что грамматика, сольфеджио и таблица умножения.

Не любила Маруся сидеть за книжкой или играть гаммы. Ее тянуло и во двор, где любимый петух Журдан разгуливал по усыпанной песком земле, где лежал на цепи ручной медведь, где борзые кидались ей навстречу, а с конюшни раздавалось громкое ржание.

И как же хорошо знала она лошадей! Сама и на ковку пойдет, сама и овса задаст, и напоит, и накормит, и за чисткой приглядит. Но приедет отец, и опять болит голова, склоненная над рваненькой книжкой, и часами твердит она: «Que j'aime, que tu aimes, qu'il aime»<sup>7</sup>. И скучно, и душно ей в роскошной гостиной. Раздражают ее бронзовые часы над печкой, что тикают так ровно и мерно, не нравится ей и штучный паркет, специально для залы привезенный из Варшавы; не люб и портрет отца, писанный масляными красками, в мундире, с воротником, глухо застегнутым, с медалями и крестами... Все это наводит на нее страх и уныние.

Сипаев почти не принимал молодежи. Старик Иловайский, Балабин, Луковкин – вот кто составлял общество отставного полковника.

Из более молодых хаживали Зазерсков, да с недавних пор появился Каргин.

Зазерсков считался смышленейшим казаком, и притом храбрейшим. Он командовал сотней в атаманском полку, и Георгий, Владимир и Анна, а также золотое оружие с надписью «За храбрость» доказывали, что немалую трепку имел от него Заиончковский с польскими уланами на реке Пассарге в Пруссии и Песлевон-паша с турецкими ордами на полях Рассевата, Рущука и Систова. Хоть и не очень старый, но бывалый был казак.

Лицо у него было сухое, обветренное, нос длинный, прямой, усы рыжеватые, повисшие вниз, бороду он брил, но редко, а потому щеки его всегда были иссиня-черные. Страстью Зазерскова было «забить буки» – особенно молодежи. Скажет ему кто-нибудь слово, а он в ответ

---

<sup>7</sup> Что я люблю, что ты любишь, что он любит (фр.).

– «да я знаю» и расскажет историю, либо с ним бывшую, либо достоверно ему известную, и никто не знал, где у него была правда, где так, обманно, он говорил.

Маруся побаивалась его зорких глаз, его острого, смелого языка. Другое дело Каргин. Застенчивый, робкий, красневший при каждом бранном слове, молодой казак нравился Марье Алексеевне своими таинственными, полными нежной прелести рассказами. То расскажет он ей, что в книжке прочел, то вдруг станет объяснять, как и что будет с людьми после смерти, да так ясно все доложит, будто и сам умирал да с того света вернулся.

Нравился Каргин Марусе и своими русыми кудрями, что кольцами вились над белым лбом, нравились ей и серые глаза его, всегда куда-то устремленные, и сильные белые руки, и нежные усы, закрученные в иголку.

При таких мыслях Маруся краснела обыкновенно и читала акафист Богородице, которому научила ее старая монахиня и который спасал от греховных мыслей. Но и акафист не всегда помогал. Пойдет Марья Алексеевна в церковь, увидит в углу стройный стан Николая в старинном зипуне на алой шелковой подкладке и зардеет вся, и опять в мыслях усы щекочут нежную щеку, а губы шепчут слова любви – и краснеет и молится Маруся до седьмого пота, а спасенье не всегда приходит, и дьявол порой и в церкви в сердце свою власть проявляет.

Сердце вещун. Сердце сердцу весть подает. Недаром так сильно бьется оно в груди у казака, недаром искрометные стрелы мечут его задумчивые порою глаза...

Но стыдно любить. Любить можно только мужа. Правда, Руссо что-то писал, а бачка рассказывал – но то у басурман, а у христиан сказано одно: жена повинуйся мужу – и только мужу. Вот если бы Николай был мужем... И об этом думать нельзя. Как родители порешат, так, видно, и будет – иначе-то как же.

Только не в ладах отцы их. Алексей-то Николаевич видеть не может письменюгу Каргина, а Каргин оскорбил его на кругу среди стариков, покоривши неправильным будто бы расчетом с казаками да какими-то бриллиантами, будто бы взятыми силком у русской графини, проживавшей в Италии во время войны. Кто прав, кто виноват – Марусе где же рассудить. Она знает, что весь дом, да и вся домашность их, с военной добычи взяты – так разве добычу-то брать грех? Вон и Иловайские так, и Луковкины, да и все – либо царь землей пожаловал да крепостными на вывод, либо с войны возок червонцев приволокли...

Не любит бачка Каргина еще и за то, что он не служил нигде, и презирал военное ремесло, и сына своего по письменной части готовил – ну, это его дело... Одно плохо: Каргин сватов не зашлет, а бачка на письменюгу Николая и так-то смотреть не хочет. Положим, Николай говорил как-то, что уйдет на службу и вернется сотником, а университет ко всем чертям отправит, да то сгоряча, а против отца разве пойдешь?

Нет, против родительской власти ничего не сделаешь, да и Николай больше насчет мечтаний, и вряд ли до дела дойдет у него.

Так думалось Марусе зимними вечерами, когда сальные свечи нагорали на клавикордах, сверчок немолчно трещал за печкой, бронзовые часы с рыцарем однообразно тикали, отмеривая время, а из дальних горниц неся равномерный храп; то храпели гувернантки, да пленная туркиня, да своя «баушка» «Домна – великая искусница до пирогов, бубликов, инжиру да нордеку»<sup>8</sup>.

Смолкнут клавикорды, склонится русая головка на высокую грудь, и бегут думы одна за другой, то веселые, семейственные, то тоскливые, грустные, одинокие...

Встряхнется, и унылый напев – «ой, что-то скучно, что-то грустно мне, тяжело на свете жить» – просится на белые клавиши, рвется в молодую, ищущую воли душу казачки.

Но не на то она рождена. Ей некогда мечтать летом, когда ее распоряжений ждут хохлы-косари, москаль-плотники, когда и скотный двор, и верховые и рабочие лошади, и волы, и

---

<sup>8</sup> И н ж и р – винная ягода; н о р д е к – прохладительный напиток из арбузного сока.

овцы, и вся домашность, все управление имением ей доверено... Когда не раз садится она в черкеске на высокое кавказское седло и на резвом иноходце несется в поля смотреть на уборку... Ну, а зимой, когда умолкнет шум полей и мирно настаиваются наливки, а варенье в больших кадках стоит занумерованное и заклеенное, индюки висят в особых клетках и откармливаются к святкам, – есть время помечтать и подумать не об одних бубликах и пирогах, а и о русых кудрях, и нежных усах...

Вдруг шум и стук под окном заставили вздрогнуть и встрепенуться молодую девушку.

– А, вражий сын, под окнами девок шататься – я тебе! Ах, едят тебя мухи и с родом твоим и с племенем, ах ты, егупетка подлая, часа остропузая! Письменюга несчастная! – слышался хриплый голос ее отца с пьяными нотками в интонации. – Либо в дом, либо вон! Я полагаю, что это он от кумпанства рыло воротит, а вон оно что, к девушкам пробираться... Нет, брат, шалишь! Так не уйдешь – ну, айда за мной.

– Я, пан полковник...

– Что, пан полковник? Чего, пан полковник – не-ет-с, как не уважить дорогого гостя, пожалуйста ко мне..

Мощный удар отпер дверь, засуетился дежурный хлопец, снял шубы, и Алексей Николаевич вошел в столовую, ведя за руку Каргина.

– Гей! Люди! Маруся... Ожогин... чертово семя – где вы? Огня!

Но уже статный казак в чекмене и высоких желтой кожи сапогах вносил драгоценные серебряные канделябры, а сзади несли скатерть...

– Ну, Маруся, – поцеловав пьяными устами дочь, сказал Алексей Николаевич, – принимай гостя дорогого, сажай на место браное, ставь нам вина заморские, хочу трапезовать до утра. Ну и мед же у Луковкина. Собака, а не мед. Такого меду и в Польше не пивал – это ж сила!

Маруся, туркиня и молодая полногрудая девка из крепостных быстро ставили серебряные блюда на белую камчатную скатерть, доставали бокалы и сулеи с вином.

– Цимлянского и потом – этого, знаешь, – коньяк, что прислали из Наполеонова царства! Каргин молча сидел, как в воду опущенный.

– Ну! Здоровье Государя Императора!

– Я не пью, пан полковник.

– Не смеешь – здоровье Государя! Пей – враг те в душу!

Взглянул чистыми своими глазами Каргин на Марусю и залпом осушил высокий бокал. Все зажгло, завертело кругом с непривычки у молодого казака.

– Здоровье атамана Матвея Ивановича Платова.

Не стал перечить молодой казак – выпил свой бокал.

– Вот люблю. Молодчина! Это добрый казак, а не письменюга злосчастная. Ну, теперь закусить. Маруся, чего дашь?

– Есть, бачка, у нас индюк, уточка есть, осетрина, стерлядка...

– К черту эту деликатность! Вали шамайки. Ух! Хорошо соленькой шамайки после выпивки – освежает. Эге, брат, что хмуришься. Хочешь казаком быть, пить учись, что за казак, коли не пьет!

– Я пью, пан полковник, – робко ответил Каргин.

– То-то. Вот она и шамая. Бери рыбину-то – да ты руками ее, руками! Вот так! – говорил захмелевший старик, погружая зубы в жирную спину копченой шамайки.

– Ну-ка, здоровье Буонапартия.

– Бонапарта пить не буду.

– Врешь! Почему так? – хитро подмигнул Сипаев Каргину.

– Потому что он злодей, шельма. Наполеон-король..

– Вона! А после Тильзита он наш первый друг, и Платов ему свой лук подарил.

– Про то мне дела нет.

– Не хочешь?

– Не стану пить.

– Пей! Чертов сын! Тебе говорю.

– Зачем лаяться, я не слуга ваш, – с достоинством заметил Каргин.

– А, ты вон как! Фармазонствуешь... Ну ладно, неволить не стану, – мягко проговорил полковник, – это нам решительно наплевать – за Буонапартия пью один.

Старик выпил, наполнил бокал и, ядовито шуря глаза, тихо заговорил:

– Два года тому назад стоял я с полком в Швеции. Есть там обычай, чтобы девушки пили, и хлопцы их здоровье провозглашали... Маруся, сядь, мой ангел.

Маруся нехотя присела на угол табурета.

– Подымут вот этак бокал и скажут: «Skal-min skal, din skal och alia vakra flicker skal»<sup>9</sup>, ну, молодой казак – skal, – за здоровье всех прекрасных женщин!

Молча выпил свой бокал Каргин, и новое что-то почуял в себе: голова будто и его, и не его, и комната не та, и все не так, как было. Туман заволакивал стены, ступшевал предметы, пьяное, хитрое лицо Сипаева скрылось в этом тумане, голоса звучали глухо, и он не разбирал, что кругом делалось. Он понял наконец, что ему дурно; в голове его мелькнуло сознание всего неприличия такого случая, он покрутил головой, хотел прикоснуться рукой до лба, но руки словно налились свинцом и не хотели повиноваться его воле.

– Пьян, – сказал Сипаев, – и пьян, как свинья. Жогин! Уложи его спать в оружейной – пусть проспится. Эх, казак, казак! А пить не умеет...

Каргин чувствовал, что его подняли под руки с места, чувствовал, что повели куда-то, но он переставлял бессознательно ноги и шел покорно за провожатым. В густом тумане, закрывшем все предметы, мелькнуло перед ним бледное лицо Маруси – и опять туман, и опять ничего не видно...

Кто-то положил его на лавку, кто-то подложил ему под голову мягкую подушку, чья-то нежная рука водила по его горячему лбу, давала ему выпить холодной воды. Дальше Каргин ничего не сознавал – он впал в тяжелый, пьяный сон без сновидений, без сознания времени и места...

Маруся взволновалась. Ее Николенька – такой бледный такой больной... Еще не умер бы. Бывали такие случаи. У них служил хохол Дуб, на свадьбе напился, заснул да больше и не просыпался. А Ляховецкий, учитель музыки и лучший скрипач, приехавший из Варшавы, тоже пил, пил до одури и один раз так выпил, что Богу душу отдал. Эти мрачные воспоминания про местных пьяниц наполняли тоской бедное Марусино сердце.

Она и водой поила, и мятного чая заварила, и кваску изготовила, и отойти не решалась от пьяного казака. И люб он был ей, хоть и пьяный. Что же, она привыкла ходить за пьяными! Бачка-то сколько раз выпивал, да и гости его не раз валялись под столом, да еще старые, грязные, лысые да седые. А тут молодой, красивый, со спутанными русыми кудрями, с полуоткрытыми розовыми устами...

Душно стало больному. Стал он хвататься за грудь, расстегнуть захотелось кафтан. Сама расстегнула крючки Маруся: куда и девичий стыд пропал. Да и не посмотрела она на высокую да на белую грудь казака – ей что за дело до нее, выздоравливал бы только ее красавец, милый ее, ненаглядный да радостный...

И долго, далеко за полночь сидела молодая казачка над Каргиным, сидела бы и дольше, да пришла старая ясырка<sup>10</sup> и погнала ее в ее горницу.

---

<sup>9</sup> За здоровье – мое здоровье, ваше здоровье и за здоровье всех прекрасных дам (*шведск.*).

<sup>10</sup> Ясырка – пленница.

– Стыдись, мать моя, казак полураздетый да пьяный лежит, а ты сидишь над ним, девическое ли это дело, куда ты свой стыд потеряла, куда упрятала свою совесть? Ах, срамница, срамница. Ну хорошо, бачка пьян, а ведь добрые люди увидят, то что они скажут...

– Он не умер, Ахметовна?

– Умер?! Да что ты, мать моя! Ишь винищем проклятым-то так и разит, так вот и напоило всю горницу... Духу-то мерзкого, что понабралось. Проснется – и как с гуся вода! Ну, ступай, мать моя.

И ясырка за руку вывела Марусю из оружейной комнаты...

Долго, страшно долго спал Каргин. Бледное зимнее солнце высоко поднялось над горизонтом и забросило свои лучи в маленькую горницу, заиграв на клинках дорогих ятаганов и сабель, брызнуло золотыми точками по тонкой резьбе самопала и, отразившись на старом шлеме, пустило зайчика на тесовый потолок.

Медленно приподнялся Каргин после тяжелого сна, приподнялся, оглянулся и понять не мог сначала, где он и что с ним. Голова трещала по всем швам, во рту и внутри начиналась такая тоска, что хоть умри. Он выпил залпом две кружки квасу, приготовленного чьей-то заботливой рукой, и как будто лучше ему стало. И сразу воспоминания вчерашнего дня нахлынули и охватили его. И это тяжелое пьянство, и тосты полковника, и его безобразное поведение, и ухаживанье Маруси – все встало так ясно перед Каргиным, будто все это сейчас только было. Стыд и сознание несмываемого позора закрались в душу молодого казака, с отчаянием схватился он за голову и бросился вон из горницы как был, в одном расстегнутом кафтане, без шапки и без шубы, добежал до дома и заперся в своей комнате.

Под вечер крепостная сипаевская девка принесла молодому панычу, от панны Марии, шубу, папаху и короткую записку. На ней аккуратно было выведено: «Зачем убежал, не простившись? Нехорошо»..

Захолонуло что-то в сердце у Николая Петровича, и неясные мечты затуманили его голову...

### III

*...Граф Матвей Иванович Платов был росту большого, волосы имел темные, глаза навывлет серо-голубые, отменно быстрые и зоркие, так что в дальности зрения едва ли кто мог с ним равняться, лицо вообще приятное, мина благоприветливая, талия прямая, стройная, в походке легок, осанкою величествен.*

***Жизнь и подвиги Платова Смирнаго***

В одной из комнат двухэтажного петербургского дома, на широкой мягкой постели, закрывшись по грудь одеялом, лежал немолодой с виду человек. Бойкие, смелые, пронизательные глаза его были открыты – он не спал. Усы, черные, слегка всклокоченные, спустились книзу; поредевшие к вискам но совсем мало поседевшие волосы сбились беспорядочными прядями, сбежали на лоб и на уши. Росту человек этот был среднего, сложения крепкого. Изжелта-красное лицо его носило отпечаток вынесенных бурь и непогод. У самой постели, распыленный на стуле, висел генеральский мундир войска Донского, со многими русскими и иностранными орденами.

Человек, недвижно, запрокинув руки за голову лежавший на постели в поздний дневной час, был войсковой атаман войска Донского, генерал от кавалерии Матвей Иванович Платов. Привыкнув на войне проводить ночи без сна на аванпостах, в бесконечных рейдах, поисках и набегах, Матвей Иванович и в мирное время не мог изменить боевых своих привычек. До четырех, до шести часов утра, до самой зари сидел он, занимаясь делами по управлению войска, а чуть светало, ложился спать – и чуток, и краток был сон его. Просыпался он в восемь, в

девять часов, но, чтобы дать отдохнуть измученному телу, продолжал лежать, соображая план действий на день: что надо сделать, когда и как исполнить. И теперь, в январский морозный день 1812 года, лежа на кровати в петербургской квартире, он обдумывал свои дела.

«Зван я на обед к императрице Марии Федоровне, – думал Платов. – Это часам к четырем надо прибыть в Зимний дворец. Господи! до чего ты возвышаешь человека! Думал ли я когда-нибудь, играя в Старо-Черкасской станице в айданчики<sup>11</sup>, что буду знаменитым атаманом. Да, сподобил Господь! – Взгляд Платова скользнул по орденам мундира, по богатому генеральскому шитью воротника... – Да, можно сказать, – а ведь чуть не сорвалось... «И вспомнил Платов свою молодость, ординарческую службу у Потемкина, пышных вельмож. Ловок, хитер и угодлив был Платов. Умел он красным, острым словом вызвать улыбку на лице своего шефа, умел лихо исполнить «порученность», умел из самой сечи неприятельской вырвать бунчук или знамя. Персидский поход графа Зубова припомнился ему. Молодой вельможа, только что вошедший в милость, неопытный в военном деле – и Платов его постоянный наставник и учитель.

Тонко подавал ему советы казачий полковник. Он думал все, что «сам» совершал стратегемы! «Шалишь, брат!.. – тонкая усмешка кривит губы Платова, но сейчас же сбегает, и грустное выражение принимает лицо атамана. – Наказал Господь за суетные мечтания... Умерла благотельница матушка Императрица – новые пошли порядки. Того и гляди в регулярство записали бы казаков, а тут прельщают соблазнами... Немилостив новый царь к старым вельможам!.. Многих погнал уже, нет различия, нет пощады никому! Сегодня вельможа, а завтра каторжник сибирский... А тут полковники, есаулы, простые казаки. Так и льнут, так и льстят – и самый-то умный, и достойнейший, и то, и другое, – а Орлов атаман-старикашка, куда ему войском править». Занесся мечтами молодой генерал. И виделся ему Дон иной, новый... Столица на горке, дома каменные, дворцы. Казачество не мыкается по походам, а сидит по станицам. Табуны коней бродят в высокой траве, достигшей роста человека; виноградники поросли по балкам, и казаки богатые, не истощенные войной без добычи, а обогатившие поисками... «Только куда поиски-то делать? Да, сама история губит войско Донское – видно, такова судьба казачества».

И опять болью сжимается сердце Платова.

Вспоминает он свои увлечения.

Написал письмо турецкому султану, и письмо то было невинное совсем, но нашлись злые люди, сделали донос. Отозвали Платова с Дона. И пошли скучные дни в Калуге, в незнакомом городе, среди людей, косо, подозрительно смотрящих на донского генерала. Тяжелое было времечко! Потом вдруг схватили его. Фельдъегерь такой нелюбезный, мрачный, ни слова не сказал, везли долго и бросили в мрачный и сырой каземат Петропавловской крепости. Все, казалось, погребло тогда для Платова. Тоска изгрызла душу, болезнь истерзала тело. Думал, ума решится он в этой мрачной яме, думал, погибнет совсем. Мундир изорвался, по телу пошли пролежни, глаза потухли от страданий. Познал Бога, познал, что значит смирение, гордый донской генерал.

«Господи, благодарю Тебя, что извел меня оттуда», – шепчет Платов, ежась на мягкой постели при одном воспоминании о казематской койке... Под ночь это было, в сырой ноябрьский вечер. Нева еще не встала, и глухо плескались ее волны, облизывая мрачные гранитные стены. Холодно, сыро в каменной клетке, совсем конец пришел от озноба. Дверь отворилась. Вошли люди. Давно не видал людей близко Платов, даже страшно стало. На казнь, верно!.. Что же, на все воля Божья! Вдруг оказывается: во дворец требуют.

Вспомнилось Платову, как в рваном, старом мундире войска Донского – где же другой найти в Петербурге – вошел он в высокий зал дворца.

---

<sup>11</sup> Айданчики – нечто вроде русских бабок.

Полумрак в императорском кабинете. Государь стоит над столом, «планщик» сбоку, карты разложены.

– Видишь эти карты? – спрашивает государь.

Смотрит Платов, и туман застилает ему глаза. Что еще надумали новое со мной делать? Отвык он от свечей тоже. Глазам больно.

«Бухара», «Хива» прописано.

Государь объясняет. Говорит мягко, ласкаючи, словно и не было сырого, смрадного каземата, словно и не рваненький мундир петропавловского узника сидит на донском генерале. Платов слушает, а свои мысли рвутся в нем, и радость свободы, радость движения охватывает его. Смекает он, что снова понадобился для похода на Индию.

Слышал ли он про такую страну? – спрашивает Государь.

«А бес ее ведает, где такая есть Индия!»

– Слышал, – говорит.

– Вот полки с Орловым поведете.

– Слушаюсь, Государь...

Краска заливает лицо Платова при воспоминании, как в небритую, жесткую щеку поцеловал его Император. Поход по грязи, в весеннюю распутицу. Нет провианта, казаки худые, изболевшиеся, лошади подтянутые, не пройдешь далеко. Пасха у Мечешного. Звон колоколов в самую страстную пятницу, известие о смерти Императора Павла и одновременный приказ вернуться домой. Вспомнили про казаков...

И снова слава! Слава больше, чем при матушке, подарившей бриллиантовую саблю!..

Шибко бьется сердце Платова при воспоминании, как его произвели в генерал-лейтенанты и назначили атаманом войска Донского.

Но Платов теперь не тот. Это не молодой человек, гордый своим донским происхождением, гордый победами своих предков. Он не мечтает больше о свободе и воле для своих детушек. Нет, нельзя бороться с Русью, сильна стала Москва. Надо хитрить. Суворов пел «кукареку» во дворце, в одной рубашке ходил по лагерю – и это обращало внимание на него... И вдруг Платов, и читавши немало, и знававший умных людей, говорит: «Планщик», «Аршава», «Шейларан» – опять тонкая усмешка кривит его губы.

«Ладно, – думает он. – Строганов атаманцами моими командует под Рассеватом и в Пруссии и получает кресты за их подвиги, те кресты, что мог бы я получить... И друг за то он мой. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, Кутузов меня недолюбливает за Турцию, – да он уже в архив сдан, плесенью оброс, не выплывет, а Милорадович и особенно Багратион – друзья мои и приятели. Есть протекция, а с протекцией и детушкам хорошо будет...»

И обращаются мысли Платова на покинутый Тихий Дон Иванович. Там теперь стройка идет, Новочеркасск воздвигают, собор делают. Не будет больше весенних наводнений<sup>12</sup>; круглый год улицы будут сухи. «Кто понял меня, почему я там на песчаном холме строю хоромы, строю славу войска Донского, его столицу... Никто!.. И история вряд ли поймет! Я знаю, говорят, к Мишкину<sup>13</sup> поближе Платов строится... Пускай говорят, я – выше этого». Платов дергает сонетку – камердинер во фраке и белом жилете, в штиблетах вносит ему кофе и ставит на столике.

Второй час дня, надо вставать.

– Был кто?

---

<sup>12</sup> Старочеркасск, лежащий при устье Дона, подвергался ежегодным наводнениям; наводнения эти разоряли черкасских жителей и побудили Платова перенести присутственные места к слиянию рек Аксяя и Шузлова, где и теперь стоит Новочеркасск. Место сухое, пыльное и безводное, до проведения железной дороги торговля прозябала. Причина выбора этого места Платовым и поныне неизвестна.

<sup>13</sup> Мишкино – имение Платова и его загородный дом.

– Никак нет, ваше высокопревосходительство. Ординарцам лейб-казацкого полка прикажете являться?

– Нет. Петр Николаевич пришел?

– Только сейчас вошли. Одеваются.

Петр Николаевич Коньков – протеже Платова. Он взял его семнадцатилетним юношей в свой полк, во вторую войну с Наполеоном, 1807 года, пожаловал урядником, а за Рушукские набеги сделал хорунжим и прикомандировал к себе в бессменные ординарцы. Платов полюбил Конькова за быстрый ум, за смелые ответы, за лихую езду, за почтительность, соединенную с воинской выправкой.

Платов подумал немного.

– Пошли его ко мне.

– Слушаю-с!

Платов надел сапоги со шпорами, надел широкие шаровары, сел на постель и задумался. Легкий звон шпор заставил его очнуться. Вошел Коньков. Это был высокий и стройный офицер, совсем молодой и очень красивый. Маленькие усики легкой тенью пробивались на верхней губе, волосы вились с боков, а сзади коротко, по-регулярному были острижены, глаза смотрели бойко, самоуверенно и победоносно. Войдя, он поклонился Платову и, вытянувшись, стал у притолоки. И уважение, и какое-то обожание видно было в его глазах, когда, ловко вытянувшись и прижав левой рукой саблю в жестяных ножнах, он смотрел прямо в глаза атаману.

– Нигде не напроказил вчера? – спросил Платов.

– Нигде, ваше высокопревосходительство, – ответил казак и, чувствуя, что разговор пойдет не по службе, слегка согнул левую ногу.

– А где был?

– В балете, спектакль так прозывается, ваше высокопревосходительство...

– Баловство! Находишься ты у меня по театрам. Избалуетесь, я вам скажу, это нехорошо. Коньков чуть улыбнулся, услышав это «я вам скажу», приговорку, постоянно повторяемую Платовым.

– Никак нет, ваше высокопревосходительство.

– Что, никак нет. Я вам скажу, не казацкое это дело. Мы не рождены ходить по паркам да сидеть на мягкой мебели, охота да война – вот наша забава. Опять у Клингельши пропал?

Коньков чуть покраснел.

– Эх, вижу, что влюблен! Что же, я вам скажу, худого. Без бабы все одно не проживешь. Только лучше бы свою взял... Ну, да погоди, я тебя порадую. Что лучше любишь, с бабами хороводиться или воевать?

Не задумался хорунжий, живо ответил:

– Воевать много достойней, ваше высокопревосходительство!

– Ну, знай, война будет об весну наверно.

– Слава Тебе, Господи!

Усмехнулся Платов.

– Чему радуешься?

– Как же, ваше высокопревосходительство, первое дело – Егорий, второе – золотая сабля, всякому лестно.

– Смотри не возносись. Бог этого не любит. Будь скромней. Хочешь кофе?

– Благодарю покорно. Камердинер внес еще чашку.

– Ну, отстегивай шашку да садись. Вот в чем дело. Завтра утром получишь от меня пакеты на Дон. Что рожь-то строишь – служи. Будет побывка – вернешься и найдешь все еще лучше прежнего! Один отдашь Адриану Карповичу Денисову<sup>14</sup> – секретный, другой дай пол-

---

<sup>14</sup> Адриан Карпович Денисов был во время войны 1812 г. наказным атаманом и управлял всеми делами войска.

ковнику Лазареву<sup>15</sup>, третий Кирсанову и скажи Денисову на словах, что исполнение потребую скорое и неукоснительное. Сегодня я дома обедать не буду, во дворец зван, а ты можешь сходить, куда хочешь, простишь хорошенько – кто знает, может, до войны и не свидишься... Завтра лошадей запасай к ночи – я в это время сдам тебе пакеты. Ну, ступай, да смотри не балуйся...

Задумчив и грустен вышел молодой казак.

– Шинель! – крикнул он и, надевши шинель, подтянув высокий кивер с помпоном на боку на правое ухо, подвиг чуб, вышел на улицу...

Война или свадьба! Ах, Ольга, Ольга, что ты наделала!

## IV

*Die ihr's ersinnt und wisst  
Wie, wo und wann sich Alles paart?  
Warum sichs liebt und kusst?  
Ihr hohen Weisen, sagt mir's an!  
Ergrubelt was mir da,  
Ergrubelt mir, wo, wie und wann,  
Warum mir so geschah?<sup>16</sup>*

**Burger**

В жизни каждого или почти каждого человека бывает такое время, когда про него говорят: «Он влюблен». Досужие люди даже выдумали признаки влюбленности, подразделили ее на категории, как болезнь, указали средство ее лечения – разлуку... Но далеко не всегда помогает и спасает это средство. Есть такая категория любви, от которой ничто не спасает, и самая жестокая разлука только усилит ее. Это бывает в тех случаях, когда человек нашел наконец свою симпатию, когда сродство душ сказалось в них. Не знал молодой казак и не думал никогда, что найдет он сродственную душу на далеком севере, в холодном Петербурге.

А вышло так. Ведь любил он и раньше, и ему покружила голову Маруся Сипаева, и он отойти не мог от Наташиной юбки – одно время даже сватов хотели посылать в дом хромого дьячка. Но быстро улетучивались белокурые и черноволосые образы, и не тянуло Конькова даже побывать у них, не тянуло взглянуть на них, похорошели ли они или нет.

И любовь та была странная – хотелось их видеть и обнимать, но больше манила веселая беседа с товарищами, чарка доброго вина. Они хорошо кормили бездомного казака, они терпеливо слушали его рассказы про походы, но они ничего не давали ни сердцу, ни уму. Или не умели они, или не хотели сказать слова: «Люблю», и если некоторые прельщались мундиром и молодостью его обладателя и произносили это роковое слово – нерадостно звучало оно, и уста, протянутые для поцелуя, целовали холодно, а красивое личико не умело покрыться румянцем и, стыдливо потупившись, упасть на высокую грудь. Или они корчили из себя какую-то неприступную невинность и брезгливо вырывались из рук казака, или слишком скоро отдавали свои ласки, свою любовь, чтобы так же скоро охладеть и полюбить другого.

Несмотря на свою молодость, несмотря на свои двадцать лет, Коньков был опытен в любви и, казалось ему, охладел к ней. Да и как не охладеть! Кругом слышал он, что любовь не казачье дело, что баба помеха на службе, что глупо жениться служилому казаку, а его все считали лихим офицером, лучшим ординарцем атамана.

---

<sup>15</sup> Полковник Лазарев был правой рукой атамана. С охранилось много писем, адресованных ему Платовым.

<sup>16</sup> Вы, мудрецы, глубоко и много ученые, которые проникли во все и все знаете – как, где и когда все соединяется в пары? Зачем любовь и зачем поцелуи? Вы, великие мудрецы, скажите мне это, поведайте мне, что со мною случилось, – поведайте мне, когда, как и где и зачем со мною это случилось? (*Бюргер*) (нем.).

И думалось ему, что и без любви к женщине весело. Он так любил своего атамана, тем странным обожанием, на которое способны чистые молодые люди, обласканные начальниками; он любил свою лошадь, любил себя. Он любил в отсутствие Платова надеть полную форму, заломить высокий кивер на правое ухо и часами любоваться на красивую грудь, на стройные ноги, по которым изящными складками ложились чакчиры, любил выйти на улицу и, закрутив усы, пройтись, позвякивая шпорами по Невской перспективе, любил зайти в английский магазин, купить духов и надуться так, что старик атаман браниться станет, любил, собравши лошадь и глубоко опустившись в седло, в лансадах подъехать к фронту, любил всенародно в Александровском саду в Новочеркасске звонким тенором завести удалую песню, любил, чтобы девушки на него смотрели, а товарищи гордились его лихостью... Он жил от обеда до обеда, от прогулки до прогулки. Грамоту знал он мало, книг не имел. Правда, из любви к искусству научился в седьмом году от пленного француза болтать по-французски, достал от Маруси даже несколько книжек французских – но это делалось в пору увлечения Марусей, а миновало увлечение, и книжки ушли, и от знания языка остались смутные обрывки и воспоминания.

Вечером, поспав после обеда. Коньков решительно не знал, куда деть время, и атаманский хорунжий чаще всего шел в избу товарища, куда приносилось вино, и беседа о совместных подвигах, мечты о новых и новых победах уносили их далеко. Не раз за этими беседами склонялись на грудь победные головушки молодых казаков и вповалку засыпали они до утра по лавкам и полатам. Привыкли они все к войне, привыкли к удалым рейдам и набегам и ночью, и днем, привыкли днем не спать на походе, а ночью мерзнуть на аванпостах, и скучно им было в мирное время без тревог и опасностей. Иногда в избе тренькала гитара, пиликали скрипки, и молодые голоса пели песню, собирая прохожих под окнами. Под вечер товарищи его часами стаивали на околице, на базах у амбаров и клетей, ожидая краснощеких Матрен и Аграфен из русских крепостных или из простых казачек и на соломе, покрытой рогожей или шинелью, под теплым южным небом проводили ночи любви. Не любил таких свиданий Коньков. В любви искал он равноправности, искал полной взаимности, не понимал он ни силы денег, ни силы убеждения, ни даже силы брака, силы установившегося обычая. Ему казалось, что нельзя заставить отдаться без любви, что это будет позор и разврат, что это неугодно Богу.

И хотя и любило его много девушек черкасских, хотя сипаевская белошвейка Груня не раз стреляла в него карими глазами и не раз, захмелевшего, выводила на базы – не находил в той любви Коньков тех наслаждений, про которые кричали ему товарищи.

Рано разочаровался он в любви, видя в ней одну грязь, отдался службе и стал избегать женщин. Этот переворот случился в нем на девятнадцатом году его жизни, когда его вдруг полюбил Платов, приблизил к себе и взял в ординарцы.

В 1810 году прямо из молдавской армии приехал Планов в Петербург и поселился на Большой Морской улице. Много имел знакомых в столице Платов. Редко обедал он дома, еще реже проводил он у себя вечера. То позовут его с какой-нибудь графине или княгине; придет, пообедает, а после обеда любил Платов порассказать про свои походы и приключения, а говорил он медленно, часто повторяя: «Я вам скажу». Повторяя и распространяясь, заговаривался старик часто за полночь. Скучно было сидеть ординарцу в своей каморке: поговорит с казаками, посмотрит в окно, глянет на часы, а всего только десять минут прошло.

Вышел однажды на улицу Коньков, прошелся раз, другой, и явилась у него привычка гулять по Морской да по Невскому. Узнал, что есть в Петербурге театры, где дается комедийное и пантомимное действо, на манер вертепа, но только во сто раз лучше.

Знакомый офицер, лейб-казак, научил казака, как взять билет, как пойти и где сесть, и собрался Коньков смотреть спектакль.

Давали балет.

«Срамота одна, – подумал Коньков, как увидел танцовщиц с голыми руками и ногами, с полуобнаженной грудью, – туда ли я попал? Может быть, здесь мужчинам и быть-то негоже».

Оглянулся кругом. Нет, мужчин много, а рядом с ним старичок маленький, седенький сидит. Седая бородка коротко острижена, усы торчком торчат, и волосы короткие, густые, ершиком. И рядом с ним девушка, брюнетка, в черном платье. У старика Владимирский крест на шее, надо думать – важная персона. Звякнул под стулом шпорами хорунжий и обратился к старичку с учтивым вопросом:

– Скажите, ваше превосходительство, что сие действие изображает и почему девицы, которые на сцене пляшут, непригоже так одеты?

Старичок стал объяснять. Он говорил неясно: не то по-русски, не то нет, не разберешь.

Внимательно и почтительно слушал хорунжий – и понял одно, что представляют «балет», и что в «балете» можно и неприбранным быть, и что слово это означает – танцы.

«Вот бы нашим старикам да старухам показать, – усмехнулся Коньков, – анафеме бы весь театр предали».

– А вы откуда изволите быть? – спросил старичок.

– Я с Дону, донской казак. Un cosaqua du Don<sup>17</sup>, – применил свои знания Коньков, думая, что так будет понятнее. – Filleicht sprechen sie auch deutch?<sup>18</sup> – обрадовался старичок, услышав французскую фразу.

Слышал, много слышал в седьмом году, в Пруссии, такой язык молодой казак, однако говорить не умел.

– О, nein!<sup>19</sup> – ответил он и потупился. – Улыбнулась молодая девушка и робко взглянула на казака. Нахмурился хорунжий.

«Все одно баба!» – подумал и стал разглядывать занавес. А темные глаза так и жгут его, так и пронизывают. И чувствует их взгляд, сквозь сукно даже чувствует молодой хорунжий. Вот глядит она на голубой лампас, вот белый с желтым и черным помпон на кивере разглядывает, на шпоры взглянула, вот глядит на усы, на кудри.

«И чего ей надо?» – думает Коньков, и рука уже закрутила усы, подняла на висках волосы выше... И вдруг покраснел казак. «Фу, как это глупо!» – подумал он и хотел было уже выйти, да подняли занавес, и кончилась пытка.

В следующем антракте старик сам заговорил.

– А у вас на Дону разве нет театра? – спросил он, обращаясь к казаку.

– Никак нет, ваше превосходительство, – учтиво сгибаясь, ответил хорунжий.

– Как же вы развлекаетесь? Вам скучно, должно быть?

– Не скучно, ваше превосходительство. Мы на охоту ездим, ходим друг к другу, поем песни, играем.

– А давно вы в Петербурге?

– Вторую неделю. Я с атаманом Платовым приехал.

– О, der berühmte Platoff!<sup>20</sup> Очень уважаю этого человека.

Подкупили эти слова казака, и стал он еще любезней и почтительней со старичком, а на барышню хоть бы посмотрел.

– У вас здесь много знакомых в Петербурге?

– Никого, – коротко ответил хорунжий.

– Ай, как гадко. Это очень скучно, такой одинокий и молодой.

– Да, мне не весело, – искренно сознался казак. Нагнулась дочка к отцу и что-то по-немецки сказала ему на ухо.

– Позвольте узнать, как вас звать.

---

<sup>17</sup> Донской казак (фр.)

<sup>18</sup> Может быть, вы говорите и по-немецки? (нем.)

<sup>19</sup> О, нет! (нем.)

<sup>20</sup> О, знаменитый Платов! (нем.)

– Петр Николаевич Коньков, хорунжий.

– Позвольте я вас с дочкой познакомлю. Поднялся хорунжий, красный как рак, даже пот мелкими каплями на лбу проступил. Хотел он поцеловать маленькую ручку, по барышня отдернула ее, и казак остался ни при чем. Пуще прежнего смутился Коньков.

– Вы простите, – пробормотал он. – У нас... так водится... если особое уважение, то в ручку...

– Да? Пустяки... Впрочем, если хотите, то целуйте...

А сама до слез покраснела, но руки не дала...

Опять подняли занавес, и разговор прекратился. Прощаясь, старичок пригласил к себе казака, сказал, что он живет в Шестилавочной, в собственном доме, что зовут его Федор Карлович Клингель, служит он в сенате и действительный статский советник.

Коньков усадил в сани отца с дочерью и побрел потихоньку домой.

Все это рассказал вечером атаману ординарец.

– Что же, – сказал Платов, – дело хорошее, я вам скажу!.. Клингель... Клингель... Я вам скажу, я припоминаю эту персону. Ты говоришь, кавалер и действительный статский советник. Брезговать этим не след. Надо всегда иметь знатных покровителей. Опять, если девица славная да хорошая – все веселее пойдет питерское-то житье. Надо, я вам скажу, тебе сделать им визит.

– Чего изволите, ваше высокопревосходительство?

– Говорю тебе: сделай им визит, то есть кратковременное посещение. Что у нас сегодня?

– Пятница, ваше высокопревосходительство.

– Ну вот, послезавтра, в воскресенье, надень-ка ты полную форму да и явись к ним часам к двум: я тебя увольняю. Побеседуй о погоде, посиди с час, и тем ты, я вам скажу, докажешь, что ты образовательная и со светским лоском персона, и не уронишь достоинства донского офицера.

– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство.

Так и сделал Коньков. Без труда разыскал он в Шестилавочной, по правой руке от Невского, дом Клингеля. Дом оказался каменный, двухэтажный. Крыльцо выходило на улицу, и, войдя в него, Коньков очутился в больших, каменными плитами мощенных сенях. Старик лакей вышел и вежливо спросил:

– Как доложить прикажете?

– Хорунжий атаманского полка Коньков, скажи.

– Слушаю-с.

Лакей беззвучно поднялся по лестнице, а Коньков с любопытством осматривал строение. Широкая каменная лестница в один марш поднималась во второй этаж. Там шел каменный коридор направо и налево, и в глубине были двери. Направо жил сам Клингель, налево – жильцы.

Старичок скоро вернулся.

– Их превосходительства дома нет, а барышня вас просят.

Подумал секунду Коньков. «Что я буду с барышней делать, а впрочем, разве казаки когда отступали? «И, решительным движением скинув плащ, атаманец быстро поднялся наверх.

В просторной, в три окна, зале сильно пахло цветами. Белые, розовые, лиловые и желтые гиацинты, красные тюльпаны и нежные нарциссы покрывали все подоконники и наполняли корзины, стоявшие перед окнами, распространяя сильный аромат. Полы, выкрашенные в желтую краску, были прекрасно навошены, красного дерева клавикорды занимали полстены, на которой висели портреты старичков и три каких-то иностранных пейзажа. Мебель была обита кожей и казалась тяжелой и дорогой. Девушка с косынкой на плечах усмехнулась и, сказав: «Сейчас доложу-с», убежала из комнаты.

Весеннее яркое солнце, так как стоял конец марта, ударяло в окна, ложилось на пол и, казалось, играло тысячами разноцветных пылинок. В больших протеночных зеркалах во весь

рост отразилась стройная фигура казака, его тонкая талия, стянутая синим кушаком, и чакчиры, длинными, ровными складками падавшие на шпоры. Отразились и бойкие серые глаза, и русые кудри, и маленькие усы.

Вдруг дверь отворилась, и быстрыми, легкими шагами вошла Ольга Федоровна Клингель.

Солнце точно померкло перед нею и не смело светить, потому что другое, более яркое солнце заглянуло в душу казака и озарило своим теплым, ясным светом ее всю. Тепло и радостно стало вдруг на сердце Конькова, и исчезло его отвращение и страх к женщине: что-то нежное забилося глубоко-глубоко, в левой стороне груди – там, где приготовлено место для Георгиевского крестика.

«Но о чем говорить с такой важной персоной, как смотреть в эти ясные, чистые глаза, дышащие кротостью и невинностью, как перебить этот нежный голосок, что щебечет словно малая птичка на заре, звеня и переливаясь в голубом сиянии неба?»

Оторопел и растерялся казак.

Как говорить? О чем говорить? О погоде – учил атаман...

– Папы дома нет, но я очень, очень рада, что вы не забыли нас! Ну, дайте же вашу руку. Я много слыхала про казаков. На днях даже книжку прочла: «Подвиги казаков в Пруссии», сочинение господина Чуйкевича. Очень хорошая книжка. Вы читали?

– Нет, не читал.

– Ну, садитесь же. Как же вы не читали? Почему вы не читали? Вы разве мало читаете? Ах, а я так люблю чтение! Больше всего! Я все-все читаю. Вот эта книжка – она всего две недели как из типографии вышла, а она уже у меня, и я прочла ее. У нас знакомый есть, он в цензурном комитете служит, он нам все-все приносит. Хотите, я покажу? Там и карта приложена.

И девушка проворно встала и пошла достать книжку.

«Ишь ловкая какая да проворная! – подумал казак. – Ровно казачка. И простая. Наши-то первый раз дуются, дуются, просто не знаешь, с какого бока подойти».

Через минуту Ольга вернулась. В руках у нее была небольшая книжечка, переплетенная в желтую кожу, с золотым тисненым орлом, окруженным гирляндой листьев.

– Вот и план, видите.

– Ишь ты, как ловко сделано! – сказал Коньков. – Ва-ажно! Вон, гляньте: Пассарга, река Алле, вот Алленбург, жаркое было дело!

– А вы разве участвовали в нем? Вы такой молодой!

– Шестнадцати лет вступил в службу в атаманский полк казаком и за арьергардные дела после Фридланда произведен в урядники и приближен к атаману, – не без гордости отвечал Коньков.

– Боже, да вы совсем еще мальчик! Коньков покрутил ус.

– Какие молодцы казаки! Балабин.

– Наш командир! Лихой, скажу вам, полковник. Под Рассеватом в прошлом году, мы в Молдавии были тогда. Ночью собрал наши сотни, копыта обвязали соломой, чтобы о камень не брякнуло, да поехали по балке к турецкому стану. Темень, зги не видно. Тучи бегут, Дунай плещется, а над селениями огни так и горят... Мы ближе и ближе. Часовой нам попался – впереди в дозор ехал Каймашников, урядник, сабля сверкнула, так, тюкнуло что-то – слова сказать не успел, и на месте готов. Оставил под горкой Балабин наш полк, а сам со мною на горку взобрался. Весь стан, как на ладони, видать. Огни горят, над огнями турки сидят, пушки их стоят. Считай, говорит, их батальоны, Коньков. Сосчитали. Только собрались идти, а тут прорвалось небо, и луна на нас глянула, а под нами – шагах в двадцати – пикет турецкий, человек десять. В сражениях бывал, лицом к лицу сталкивался с неприятелем, а такого страху не знал, как в тот час.

– Ну и что же? – охваченная волнением казака, спросила Ольга Федоровна.

– Ничего, Бог миловал, – со вздохом сказал Коньков.

И вдруг нахлынули вереницей воспоминания о боях и сражениях, и позабыл казак, где он и с кем, и полились рассказы о схватках, о переправах вплавь, о бешеных атаках и далеких поисках, об умном, славном, любящем казака атамане, о верном коне Ахмете, что не раз выручал в сече, что скакал быстрее оленя, которому сто верст отмахать нипочем, который руки лизал и радостным ржанием приветствовал своего хозяина.

Внимательно слушала питерская барышня пылкие речи казака – и ненавидела она с ним Пслевана-пашу и Наполеона-короля, а любила она и атамана Платова, и сотенного Зазерскова, что все говорил: «Да я знаю» и о казаках пекся, как о родных детях, любила и коня Ахмета, и вестового Какурина.

Видно, и правда есть сродство душ, что так скоро русская немочка, тихенькая и скромная, первая ученица французского пансиона для благородных девиц, дальше Ораниенбаума никуда не ездившая, так хорошо поняла пылкие речи казака, сражавшегося и в Турции, и в Пруссии, чуть не ребенком во время войны прошедшего поперек всей Европы.

Не десять, не двадцать минут сидел визитер, а сидел уже третий час, и все говорил и изливал он в простой, откровенной беседе свою душу перед этой девушкой, которую первый раз увидел, которую совсем не знал... Часы пробили три, четыре, и близилось время к пяти; в соседней комнате звенела посуда под руками прислуги, накрывавшей стол, а казак, удобно усевшись в покойном кресле и положив на накрытый скатертью стол свой кивер с голубым верхом, все говорил, говорил. Он рассказывал и про детство свое, и про донские песни, про полк, про товарищей, рассказывал про кутежи и про пьянство, про охоту на лисиц черно-бурых, про Марусю Силаеву, сказал даже, что женщин ненавидит он и презирает.

– А меня? – спросила Ольга Федоровна.

Вспыхнул казак и замялся:

– Не знаю...

По счастью, дверь отворилась, и в залу вошел старичок. По лицу дочери, оживленному и радостному, догадался он, что беседа шла по душе, что казак ein guter Kerl<sup>21</sup>, и приветливо поздоровался с донцом...

– Обедать время, – сказал он, – Петр Николаевич, оставайтесь с нами. Садитесь, пожалуйста.

«Ну как остаться? Атаман сказал: десять, двадцать минут посидеть – а он, нате-ка, три часа отмахал, как минуту. Но как и отказаться?»

Остался Коньков. И ел он и суп из кореньев, и пирожки слоеные, и вареную ветчину с горохом, и вкусные пышки. Пил чай, пил ликер и коньяк – и еще больше от того развязался у него язык.

Заметила Ольга Федоровна, как зарумянились от коньяку щеки и заиграл огонек во взоре у хорунжего, и незаметно отставила хрустальный графинчик в сторону. Не хотелось ей портить хорошего впечатления, которое произвел на невинную душу ее молодой атаманец.

В восемь часов вечера ушел Коньков домой.

Темно еще не было; народ по улицам все еще суетился, а он шел пешком, не желая брать извозчика, и шагал по Невскому, глядя на магазины, – и хорошо было у него на душе, а почему хорошо, он и сам не знал.

С той поры, вот уже два года, как почти каждый день входил Коньков в дом на Шестилавочной. Знакомые Ольги Федоровны находили это сближение «компрометантным», но девушка не хотела оттолкнуть разговорчивого, бесхитростного казака, тем более что после него ей претили петербургские франты с вычурными манерами, с напыщенной речью. Отец смотрел на Конькова так же симпатично, как дочь, и молодые люди дружески сошлись.

---

<sup>21</sup> Добрый мальчик (нем.).

Они вместе читали книги; нежным сопрано пела она ему романсы, пела знаменитый модный вальс, играла на клавикордах и как-то раз, разучивши потихоньку одну песню, встретила его с лукавой усмешкой, подошла к клавикордам, и нежный голос раздался по зале:

«Поехал казак на чужбину далеко, на добром коне вороном он своем, свою он краину навеки покинул, ему не вернуться в отеческий дом», – пела девушка.

И вдруг заплакал, слезами, как баба, заплакал Коньков.

– Что с вами?.. – участливо спросила она.

– Не знаю, ничего. Скучно мне... Грустно... Старуха ясырка мне предсказала, что не будет мне счастья на земле, хоть много будет хороших минут.

– Полно, глупости какие! Разве вы несчастливы со мной?

– Счастлив... Да долго ли счастье это продлится? Уеду я на Дон, и забудете вы своего казака.

– Почему вы это так говорите? Знаете, вы огорчили меня своими словами. Я к вам такую нежность чувствую, какой еще никогда ни к кому не испытывала. Нехорошо это...

– Да что ж, – улыбнулся ясной и горькой улыбкой.

Коньков, – разве пошли бы вы, сенаторская дочка, за простого казака? Разве променяли бы вы эти хоромы на простую нашу избу, разве стали бы вы жить, занимаясь хозяйством, как живут наши жены...

– И не надо мне так. Слушайте, Петр Николаевич, если бы любили вы меня так, как я вас люблю... – начала Ольга Федоровна, но казак перебил ее:

– Я люблю вас больше, чем вы думаете. Когда я любил только свой Тихий Дон, любил полк, своих товарищей, атамана, томила грудь мою разлука с ними и ненавидел я Петербург. А теперь?.. Разве теперь хоть тень этой ненависти осталась... Мне хорошо в вашем доме, так хорошо... Просто и уходить неохота. Хотите, я выйду в отставку... Но что я тогда делать буду?.. Только и умею я, что укрощать диких лошадей, да стреляю из лука, а больше ничего. Будь у меня богатые имения, собери я добычу на войне – ну, тогда еще можно было бы жить помещиками, но у меня ничего нет, решительно нет ничего... Я живу милостями атамана, живу тем, что он мне дает!

– Дорогой мой, сокол мой ясный, ничего и не нужно! Служите своему Государю, и я с вами служить буду. Пойдете вы в поход на войну, а я пойду сестрой милосердия, и заживем мы с вами хорошо. Разве не могу идти я на войну? Разве хуже я той девушки, что кинула родительский дом и ушла с Бонапартом сражаться?!

– Вы лучше всех! Неужели возможно такое счастье?

Коньков быстро схватил ее руку и поцеловал ее крепко-крепко. Словно ток пробежал по их жилам; Ольга порывисто приподнялась и смело и крепко поцеловала его в губы, потом улыбнулась доброй и странной усмешкой и прижалась щекой своей к высокой груди казака. А он покрывал ее густые черные волосы поцелуями страсти, и кипела, бунтовала в нем кровь.

Дверь скрипнула и приоткрылась. Как от громового удара разлетелись оба они в разные стороны, оба красные, взволнованные. Ольга оправилась скорее.

В дверях, приветливо улыбаясь, стоял молодой человек, Карл Иванович Берг, чиновник сената, двоюродный брат Ольги. Вышитая красными и желтыми шелками подтяжка яркими полосами бросалась в глаза. Потом были видны худощавые ноги, обтянутые серо-желтыми рейтузами, маленькие лакированные сапоги с кисточками и фрак, забавно сидевший на нем.

– Ах, как вы напугали меня. Разве можно так входить?

Вялое, бесцветное лицо Берга оживилось и покраснело.

– О, я не знал, что вы не одна. Я не предполагал, что у вас сидит казак.

Злоба сверкнула в глазах Конькова; ноздри нервно раздулись, и вспухла синяя жила на лбу. Он встал и тяжело оперся на саблю.

– Позвольте вас познакомить, – сказала Ольга Федоровна. – Друг моего отца Петр Николаевич Коньков, а это мой двоюродный брат Карл Иванович Берг.

Берг развязно сел, не подав руки казаку.

Коньков нахмурился.

– Ольга Федоровна, выйдите, пожалуйста, из этой комнаты.

– Петр Николаевич, ради Бога, оставьте, не надо ничего делать? Что вы хотите?

– Я хочу, – резко отчеканивая каждое слово, заговорил Коньков, – вышвырнуть вон этого негодяя!

– Негодяй?! Я негодяй, Ольга Федоровна! Я буду жаловаться на ваш папаша! У вас в доме опасно бывать. У вас не дом, а казачий постоя! – петушился Берг. – Я ухожу! Да, я ухожу! Что же мне делать. Я не могу идти на сильный! Я умный – у меня ума палата, но грубый физический сил – это дворник и лакей...

– Сам ты лакей! Егупетка подлая! Вон! – громовым голосом крикнул Коньков.

Сжался, съезжился, точно в комок, немец, двоюродный брат, и выскользнул в дверь.

– Я этот попомню, я буду отомщать! – крикнул он в дверь.

Коньков долго не мог успокоиться. Только присутствие любимой девушки удержало его от расплаты за дерзость тут же, на месте. Он нервно, порывисто дышал, высоко поднималась и опять опускалась его грудь, а глаза беспокойно смотрели куда-то в сторону.

– Что вы наделали, Петр Николаевич? Ведь это ужасный человек, этот Берг. Он вам сильно может повредить.

– Мне? Лишь бы вас, мою ясочку, не тронул, а у меня защита, – указал казак на саблю, – всегда при мне.

– Зачем доводить дело до оружия. И так немало крови льется по миру, зачем еще затевать домашние распри... Одно скверно. Он видел, как вы меня обнимали... Да, видел...

И вдруг сразу вся сдержанность ее пропала; бессильно опустилась голова Ольги на грудь, и, ломая руки и обливаясь слезами, откинулась молодая девушка на спинку дивана в бессильном, тяжелом горе.

– Позор! О, позор!.. По-озор... – медленно проговорила она, привстала и опять упала, продолжая рыдать.

«Пойдет теперь эта сорока звонить по всему городу! Бог знает чего порасскажет», – думала Ольга.

Коньков прошелся раза два по комнате. Он все мог выносить; всякое страдание готов был претерпеть, не боялся он свиста турецких пуль, не боялся рева ядер и шелеста гранат, не боялся визга картечи и отчаянных криков янычарской пехоты, и не билось у него сердце ни в поисках за неприятелем, ни под вражескими пушками, ни в бешеной атаке. А тут, при виде, как в отчаянии, ломая руки, плачет хорошенькая женщина, при виде лучезарных глазок с покрасневшими веками, залитых слезами, – забилося, сильнее забилося сердце в могучей груди, и впервые узнал он, что значит тревога.

– Послушайте, Ольга Федоровна... – мягко и нежно заговорил хорунжий. – Ведь я ваш жених! Хотите, всему свету завтра объявим... хотите, и свадьбу завтра скрутим. И нет тут никакого позора, не о чем тут горевать.

– Как нет!.. – голосом, полным отчаяния, возразила Ольга Федоровна. – Не утешайте меня. Лучше молчите... Ничего мне не надо...

И снова рыдания.

– Ну, выпейте воды. Вот вам вода.

Ольга Федоровна отпила глотка два воды и, охватив своими нежными ладонями щеки казака, порывисто поцеловала его.

– Ах, не так о себе беспокоюсь я, голубок мой ясный, как мучит меня тревога за вас. Вы не знаете Берга! Это подлый и мстительный человек. Он этого так не оставит Два раза

делал он мне предложение, но я оба раза ему отказала... Теперь увидел... Он убьет вас, Петр Николаевич... Или гадостей вам наделает!

– Ну, если только это – бояться нам нечего! Я за себя постоять сумею...

Успокоилась Ольга Федоровна от ласковых слов, от могучих объятий. Полегчало ей на сердце. И опять начались у них разговоры, стали они делать планы будущего.

И хороши, заманчивы были эти планы!

А неделю спустя с грустной вестью пришел Коньков к Ольге Федоровне.

Платов поручил ему отвезти важные бумаги в войско, так как идут разговоры о войне. Слышно, что Император недоволен континентальной системой, что дядю его, герцога Ольденбургского, неправильно обидели, и много еще чего болтали в петербургских гостиных.

Люди полегковернее говорили, что Наполеон – это и есть антихрист, обещанный миру, что это тринадцатый год сплошной войны, что восстанут брат на брата и сын на отца... А тут появилась еще, словно назло, комета. Разговорам и толкам, на раутах и обедах, на визитах и вечеринках, конца не было. Ничего не говорила об этом только влюбленная парочка.

Горючими слезами плакала Ольга Федоровна, прижимаясь к высокой казацкой груди, крестила по сто раз, благословляла его, целовала и в губы, и в глаза и руки ему целовала; и ласкала она, и нежила его, и ухаживала за ним, как мать не ходит за родным сыном.

– Возьми, голубок, на дорогу, – на прощанье сказала ему Ольга, подавая корзину. – Все меня вспомнишь. Тут и пирожное, и пирожки – сама пекла, и бутерброды тебе понаделала – кушай, родной, на здоровье...

Укрепили эти ласки Конькова. Бодро пошел он домой, свернул по Мойке и переулками стал выбираться к платовскому дому.

Была уже ночь. Редко поставленные фонари с масляными лампочками чуть мерцали. В темном лабиринте переулков его нагнали два человека. Они говорили по-немецки.

– Dieser?<sup>22</sup> – спросил один у другого.

– О, ja<sup>23</sup>.

– Я сразу боюсь. Я лучше на хитрость пущусь.

– Мне что. Здесь неудобно. Адьютант Платова – особа. Полицеймейстер! Еще за измену сочтут, а я лучше за городом. Мне казак его говорил: завтра поедет на Дон.

– Gut, ich hoffe also auf Sie...<sup>24</sup>

Коньков обернулся.

Прямо против него стоял Берг и еще какой-то человек. Коньков сделал шаг вперед, но преследователи юркнули под ворота, и хорунжий одиноко продолжал свой путь.

Платов давно вернулся из дворца и был сильно не в духе. Пришлось потихоньку раздеться и лечь до утра, а собираться уже днем.

Долго молился за свою ненаглядную Олю Коньков.

Потом лег, стал было уже засыпать, как вдруг непонятная тревога охватила его; ему стало страшно, тоскливо страшно чего-то. Он стал горячо молиться – но тревога только усиливалась, и до утра боролся он с ней и не мог победить ее.

## V

*...Мы не рождены ходить по паркам да сидеть на бархатных подушках, там вовсе можно забыть родное ремесло. Наше дело ходить по полю, по болотам да сидеть в шалашах, или лучше еще под открытым*

<sup>22</sup> Этот? (нем.)

<sup>23</sup> О, да (нем.)

<sup>24</sup> Хорошо, итак, я надеюсь на вас... (нем.)

*небом, чтобы и зной солнечный, и всякая непогода не были нам в тягость.  
Так и будешь всегда донским казаком.  
Слова Платова*

У Платова имелись причины быть не в духе. Во дворце с ним произошел случай, о котором, наверное, Бог знает как будут говорить в петербургских гостиных, и, во всяком случае, посмеются над донским атаманом, – а кому приятна насмешка? Положим, Платов недурно вывернулся из неловкого положения, еще раз доказавши свой ум, природную сметливость и остроумие.

Неприятное приключение, быть может, уже забыто, но злые языки, – а их так много в Петербурге, – осудят атамана, и это может многому повредить.

Во дворце у Государыни Марии Федоровны собралось общество. Больше число гостей были свои, придворные, искушенные опытом светской жизни, – один Платов был чужой, нелощеный. За столом он очень понравился Императрице своими бойкими и интересными рассказами про Дон, про войну, про Наполеона. Платов был в ударе. Он не тянул, не повторялся, как обыкновенно, а даже любимая его поговорка: «Я вам скажу» – звучала так мило и так кстати, что сходила совсем незаметно, а его остроты были так удачны, что им мог бы позавидовать сам Билибин, известный остряк-дипломат.

Государыня много и весело смеялась, придворные вторили дружным хором; Платов рассказывал, жестикулируя и увлекаясь все более и более...

После обеда в самых изысканных выражениях откланивался Платов Императрице.

– Не забывают же меня, атаман. Вы так мило рассказываете...

– Помилуйте, ваше величество, – ловко сгибаясь, отвечал Платов. – Могу ли я...

Но тут роскошная, усеянная бриллиантами, жалованная еще матушкой Екатериной сабля задела за постамент драгоценной вазы, ваза дрогнула, нагнулась и полетела на пол, задевая другую, третью...

Смутился Платов, хотел исправить свою ошибку, хотел отскочить в сторону, да что сделаешь на проклятом паркете!

Поскользнулся атаман, зацепился шпорой за ковер и упал бы, наверное, упал бы со всеми своими регалиями и орденами, да Императрица схватила его за руку и удержала от падения.

Сильно смутился Платов, смутился, но не растерялся.

– Ваше величество, – громко и смело сказал он, – само падение меня возвышает, ибо дает случай поцеловать ручку премилосердой монархини, моей матери. – И со словами этими он свободно нагнулся и поцеловал милостиво протянутую руку.

А потом, обернувшись к смеющимся придворным, широко и просто взмахнул рукою и, указывая на черепки разбитых ваз, сказал:

– Вот, говорят, казак, чего не возьмет, то разобьет. Первого я не знаю, а второе и со мною на деле сбылось! – И, отвесив низкий поклон, Платов вышел из залы...

Императрица осталась довольна, что ее гость выпутался из неловкого положения, придворные тоже не имели возможности смеяться, но... Но что-то все-таки неприятно кололо Платова, и долго не мог еще он успокоиться.

Далеко за полночь сидел он у себя и писал письма, мусоля и грызя гусиное перо, тщательно выводя тяжелой рукой каракули и подписывая «генерал-лейтенант Платоф»<sup>25</sup>.

И против воли суровостью веяло от письма к своему заместителю на Дону Адриану Карповичу Денисову, более опытному, более образованному, обладавшему военными талантами. Далеко не без умысла, опасаясь соперника в столице, поручал ему Дон на случай войны атаман Платов.

---

<sup>25</sup> На всех бумагах Платов подписывался с буквой «ф» в последнем слог.

Остальные письма атамана вышли мягче, ласковей. Случай во дворце стушевывался, начало являться соображение, что, может быть, петербургские кумушки станут толковать его в пользу казака-атамана.

Погасли последние фонари, и куранты на Петропавловском соборе проиграли пять ударов, когда, кряхтя и охая после нелюбимой работы, от которой делался у него «вертеж» в голове, улегся Платов на постель и заснул.

Он проснулся поздно.

Коньков успел уже сходить на Лиговку в почтовую станцию и заказать лошадей, успел явиться к коменданту и выправил подорожную, а Платов все еще не просыпался. Проснувшись, он лежал долее обыкновенного, тщательно обдумывая: все ли ясно написано им на Дон и не упустил ли он чего. За заботой о войске мало-помалу исчезли неприятные впечатления дворцовой истории.

Под вечер Конькову приказано было собираться. До станции его должна была доставить платовская тройка, а там ехать приходилось на перекладных.

В восемь часов вечера, как было приказано еще накануне, казак, закутанный в плащ, в дорожном кивере и старом чекмене, вошел к Платову.

– На пакеты... – сурово сказал Платов. – Да хранит тебя Господь Бог на твоём пути. – Он набожно перекрестил молодого казака. – Хорошенько исполни свою «порученность», не балуйся ни в Москве, ни в Воронеже. Исполнив порученность, явись в полк. Ты мне теперь там будешь нужен. Я вам скажу, как бы весной не сцепились опять с Бонапартом. Больно «претензий» много заявляет, сил нет от его нахальства... – Платов помолчал немного. – Сердечные дела справил? Не бойся... Сильно заговорится твое сердце – сам сватать пойду, заупрямится – Государыню попрошу... Хоть и не люблю я «иногородних»... Ну, еще раз с Богом! – Перекрестил своего ординарца Платов, поцеловал еще и еще раз и повернул к двери. – С Богом! Клянйся моим атаманам-молодцам!..

Мороз был здоровый. Сквозь холодный плащ порядком продувал северный ветер молодого казака. Платовская тройка быстро летела по сумрачным улицам Петербурга. «Поди! Поди!» – кричал кучер, а денщик коньковский ежился на облучке, обеими руками придерживая клингельскую корзину.

Вот и почтовый двор. Вышел смотритель с фонарем, засуетились ямщики, стали выводить лошадей, казак Какурин сносил узелки и кулечки в почтовые сани.

– Жалко, раньше не прибыли, ваше сиятельство. Попутчик вам был бы. Тоже до Москвы и далее подорожная прописана. Вместе-то и веселее, и дешевле бы ехать было.

– Нет, я один больше люблю, – сказал хорунжий, просмотрел подорожную, ощупал на груди пакет с бумагами, посмотрел пистолеты и вышел на улицу.

Косматые почтовые клячонки топотали ногами на морозе, нетерпеливо желая бежать; взглянул на столицу Коньков последний раз, смахнул рукавом набежавшую было слезу и вдруг быстро пошел назад к городу. Навстречу ему, закутанная в платок, быстро шла стройная женщина, а сзади другая. Не надо было говорить молодому казаку, что это Ольга Федоровна – сердце подсказало ему это раньше, чем рассмотрели глаза.

Она кинулась в объятия хорунжему.

– Милый, прощай, дорогой! Не тоскуй! Я тебя так люблю...

– Ах ты, лихая ты пташка моя! Как же ты, одна?

– Нет, Груня проводила меня... Слушай, красавец мой, исполни одну мою просьбу.

– Хоть сто, хоть тысячу...

– Закутай свою грудь платком этим. Сама связала для тебя. А вязала, все думала – поедешь куда, накроешься и вспомнишь свою Олю.

Нахмурился Коньков.

– Нежности... Глупости бабьи! – пробормотал он.

– Ай, как нехорошо! Так-то ты меня любишь...

– Ну, прости, моя радость.

Ольга Федоровна сама завязала платком грудь казака, застегнула плотнее плащ, крепко-крепко поцеловала.

– Ну, с Богом!

– Не горюй, моя ласточка, скоро вернусь! – набожно перекрестив ее, молвил казак, прыгнул в сани, тронули лошади, зазвенели бубенцы, поднялась снежная пыль столбом из-под ног пристяжных, и полетела тройка мерять версты через всю Русь бесконечную.

А Ольга Федоровна, вернувшись домой, стояла у окна и с тоской смотрела на снежинки, что крутились и падали на землю, – и уносились мысли ее далеко в пустынное поле, где воет ветер, где безлюдно кругом и где далеко-далеко, черной тоской несется звенящая тройка, унося надолго все самое дорогое, самое радостное в ее жизни...

## VI

*...Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека  
тебя вижу: бедно, разбросанно и неприятно в тебе; не развеселят,  
не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами  
искусства..*

*Гоголь. Мертвые души. Гл. XI*

Велика, беспредельно громадна широкая Русь. Через горы и леса, через города и деревни, через села и поселки бежит бесконечная дорога, то вздымаясь на холм, то стуча по бревенчатому мосту.

Мелькнет обоз с сеном, соломой, кулями, покажутся мужики, закутанные в серые сермяги, попадетсЯ встречная тройка, постоялый двор, кабак с елкой, полосатый шлагбаум и часовой подле, домишки с мезонинами в предместье, дом губернатора, сиротский или уездный суд, каменный желтый собор и повалившийся набок заборик рядом, вежа съемщика – и опять дома и домишки, корявая березка за заборчиком, надпись «вхот всат», и опять пошли леса и поля, бесконечные и однообразные.

Вот солдаты стоят по деревне. Видны красные шапки; у колодца лошадей поят; где-то сигналы учит несчастный трубач, мелькнули дежурные при сабле и опять ничего, опять степь, безлюдье и ширь, ширь матушки-Руси, бесконечной и могучей. Иной ямщик попадетсЯ молчаливый, иной весь перегон тянет в нос тоскливую песню, иной, свернувшись с козел, спросит, откуда, куда и зачем едете, и что говорят про войну, и то правда ли, что Александра-царь с Наполеоном дружит, другой и дальше пойдет, спросит: люди ли казаки? и правда ли, что они детей едят и жен не имеют? Усмехнется Коньков на невежество, начнет рассказывать про богатство донское, про вольную волюшку, глядишь, там и станция близко, смотритель в громадных очках глядит подорожную, записывает в книгу. Проезжий помещик дымит чубуком, гусарский корнет в звонком ментике и еще двое губернских господ понтируют за залитым чаем и вином столом. Поздоровается с хорунжим корнет, скажут слова два, и опять только и слышно: «Углом... Нет, брат, семпелями нельзя... Девятка бьет. Ладно...»

И опять степь.

То вьюга завывает кругом, лошади вязнут и бредут шагом, то яркое солнце светит, и глазам больно от розоватого блеска снегов, от бесконечной сверкающей белой пелены, то, наконец, темная ночь нависнет, брешут далеко собаки, где-то огни горят, и скрипит длинный обоз по дороге.

Быстро сменяются впечатления, особенно работает ум. Пейзажи, непрерывно меняющиеся, разнообразные в самом однообразии; новые лица на каждой станции, мимолетные встречи и знакомства за стаканом чаю, за кружкой меда, за щами и говядиной... Петербург, любовь

за спиной, а впереди родина, которую давно не видал, товарищи, полк, веселая, разгульная, бесшабашная казацкая жизнь.

Ни на минуту не остановился в Москве ординарец донского атамана, снял кивер, перекрестился на Иверскую, у Кремля помолился и поехал дальше.

То, да не то пошло за Москвой. Раздались поля больше вширь, часто стали по холмам и пригоркам сверкать макушки церквей, реже стали леса. И зима та, да не та. И холодно, а солнце будто ярче светит, больше согревает. Воздух будто легче, свежее.

День и ночь гнал ординарец, торопясь отвезти нужные бумаги в войско. Но устали молодые кости, захотелось вздохнуть, подышать свежим воздухом, поговорить хоть с проезжими. И случай к тому скоро представился.

На втором перегоне от Воронежа, на одной из глухих степных станций, за маленьким столиком сидел человек в вольном платье и пил чай. При входе хорунжего он поднялся, взглянул пристально ему в лицо и низко поклонился.

– Кажется, мы встречались? – сказал он, не совсем чисто выговаривая по-русски.

«Хоть убей – не помню», – подумал хорунжий, рассматривая лицо, покрытое веснушками, с бесцветными серыми глазами, с рыжеватыми усами и большой плешью на голове.

Коньков нерешительно подал руку. Вольный с чувством ее пожал.

– Конечно, встречались! – уверенно воскликнул незнакомец. – И даже скажу вам где: в Шестилавочной у Федора Карловича Клингеля... Помните, я играл в карты со стариком, а вы за барышней ухаживали. Славная девушка!

Прояснилось лицо у хорунжего, как вспомнилась ему чуткая и отзывчивая его невеста.

– Вы сильно торопитесь? – продолжал незнакомец.

– Я... нет... Видите, я ехал почти месяц день и ночь и вот утомился немного, башка трещит, хочу отдохнуть чуточку.

– Хороший план. Хотите закусить? Виноват, ваше имя и отчество?

– Петр Николаевич Коньков, хорунжий.

– Барон Иван Феликсович Вульф. Садитесь, у меня в погребе дивные вина есть, и все заграничные. Есть, правда, и медок липецкий, собака, а не мед. Вкус, чистота – кристалл.

Призадумался было хорунжий. Давно обещал он невесте не пить, да и Платов просил быть невоздержней, но трудно удержаться... С дороги пить хочется, а гость достал уже из погреба хрустальные рюмки, и прозрачное ароматичное вино льется в них.

– Здоровье Государя!

Чокнулись проезжие. Ожгло всего Конькова дивное вино. И захотелось выпить еще и еще, захотелось щегольнуть тем уменьем пить много и свободно, чем прельщал он всегда черкасских приятелей.

– Здоровье славного атамана Платова и всего великого войска Донского! – поднимая бокал, воодушевленно сказал он, и слезы выступили на глазах его, как вспомнил, что Платов сватов готов посылать за его невестой.

– Охотно, охотно пью за вашего знаменитого атамана. Не раз любовался я им, когда проезжал он во дворец... А теперь выпьем за прелестную Ольгу Федоровну Клингель!

«Ишь, собака, говорит-то как важно!» – подумал Коньков и залпом выпил бокал.

Что это? Никогда с ним того не бывало, чтобы с трех бокалов пьяным напиться. И вино-то будто бы не так чтобы очень крепкое. А между тем... Да, он пьян, он пьян, как свинья, пьян, как никогда еще не был, пьян до бесчувствия...

Лицо барона, сидящего против него, то принимает ужасающие размеры, то съеживается, и корчится, и смеется.

– Петр Николаевич, что с вами? Устали, видно, с дороги... Выпейте еще – это вас освежит и подкрепит.

С трудом поднес рюмку к устам казак, выпил и как сноп свалился на лавку.

– Ну-с, – проговорил барон с подленькой улыбкой, – «будем посмотреть» – так ли вы идеально исправны, как думает про вас ваш атаман и как говорит про вас кузина моего друга... Беденький, – притворно-жалостливо произнес он, наклоняясь к недвижному казаку, – уж не умерли ли вы с перепою... Не отвесил ли злодей аптекарь больше, чем нужно... Ах, как мне жаль вас! Однако и действовать пора...

Он расстегнул чекмень казака, стянул шаровары и сапоги, потом, сняв свое платье, аккуратно и бережно сложил его в головах у Конькова и, надевши его форму, стал ощупывать карманы. В шароварах нашел он кисет с несколькими золотыми, в чекмене надушенный платок с меткой О.К. и, разочаровавшись в своих поисках, хотел уже начать ощупывать казака, да схватился за кивер и на дне его заметил большой, аккуратно сложенный пакет.

– А, вон оно где! Теперь конец! – сказал он. – Нет. Берг умеет мстить! Это здесь, а что в Петербурге! И дурак же Платов, что с такими бумагами посылает юнцов. Через неделю Наполеон прочтет его планы относительно Дона и не оставит меня без награды.

И негодяй прищелкнул языком от удовольствия и даже подпрыгнул. Потом, надевши кивер и плащ, закрыв лицо по брови воротником, он вышел во двор.

– Лошадей!

Засуетились ямщики, зазвенели бубенцы, и самозванный хорунжий помчался в далекие степи.

Вошедший в станционную избу смотритель нашел там сильный беспорядок. Раскрытый погребец валялся на полу, на лавке, под образами, лежал недвижно бледный человек, а в головах его было сложено вольное платье.

«Что за притча такая! – подумал старик, – лицо как будто у офицера такое было, а платье гражданское, да и офицер уехал давно. Чудно, со старческой слепоты, видно, мне так показалось... Ишь, бледный какой. Пьяный либо больной. Не дышит совсем. Плохо дело».

Смотритель нагнулся к молодому человеку, и действительно он не дышал. В ужасе, что на его станции совершено преступление, кинулся он вон из избы, распространяя по хутору весть, что приезжий барон умер и неизвестно от чего.

Вскоре вся комната, где лежал Коньков, начала наполняться народом...

## VII

*...Но что будут делать офицеры, не имеющие понятия о планах и не умеющие обращаться с ними, да и часы, по бедности наших офицеров, немногие могут купить...*

*Записки атамана Денисова.*

*Русская Старица. Т. XI*

Наступил март месяц. Весна стала по Дону. Широкой полосой разлился он по балкам, затопил Старочеркасскую станицу и зашныряли по ней челноки, развозя казаков по улицам, словно гондолы в Венеции, зато в Новочеркасске – сухо и пыль даже показалась. Зеркальным озером стал разлив крутом, отразились в нем дома и деревья, и как острова стали одинокие хаты упрямых старочеркасцев. «Да, – соглашались передовые казаки, – прав наш атаман, что увел столицу нашу с родного пепелища, но почему поставил нас здесь, на безлюдном холме, далеко от кормильца Дона, далеко от богатого моря. Почему не в Ростовской бухте, а здесь вот, вдали от торговых дорог, Должен стать первый город Донского войска? Ведь затмят его своей торговлей Ростов и Таганрог, станут богаче его, «только собором, атаманским дворцом да присутственными местами будет выделяться Новочеркасск перед другими городами всевеликого войска Донского»...

Неужели правда, чтобы стать ближе к Мишкину, где пасутся атаманские табуны и разрастается сад атаманский?

Хоть и упорно носится слух этот по Новочеркасску, но не вяжется как-то представление о преследовании личных интересов с величавым, могучим образом героя-атамана.

Скорее, по глупости, по недалёковидности, но неужели Платов глуп? Как может быть глупым человек, из простого казака ставший атаманом войска Донского! Как можно заподозрить в недалёковидности человека, остроумием и хитростью которого восхищается вся Европа! Одно говорило в его пользу – это что два века разоряли ежегодные наводнения старочеркасцев, а только Платов рискнул перетянуть казаков с насиженных гнезд. Один он не сробел поселить донцов на новом месте, не рассуждая, удобно оно или нет! Разве для этого не надо ума? Но почему же тогда выбран для столицы этот холм, окружаемый жалкими Аксаем и Тузловом, которые несудоходны, а в летнее, жаркое время и совсем высыхают? Почему силком сгоняли туда казаков? Почему прекратили землекопные работы, которые оградили бы Старочеркасск от постоянных весенних наводнений, а стоили бы дешевле, чем перенесение города на новое место?!

Вес эти вопросы волновали черкасское общество не менее, чем надвигавшаяся война. Казаки все еще лелеяли мечты, что поставят столицу у устья Аксая, при Доне, где было и возвышенное, и бойкое место, все думали, что Платов «поблажит» и оставит свою мечту – и по-старому центр войска будет в Старочеркасске, где был он почти двести лет. И неохотно строились казаки по Тузлову и Аксаю, неохотно подчинялись они требованиям новой, правильной разбивки домов, улиц и переулков...

Немногие поняли идею великого атамана.

Понял Зазерсков, генерал-майор Иловайский понял, поняли еще некоторые люди старого закала.

Не любил Платов ни «письменюг», не любил торговых казаков.

С грустью видел он, как год от года плошают казаки, мельчают кони и богатырская потеха – охота и кулачные бои – отходят в область преданий. Конскими ристалищами, своими атаманскими охотами, борьбой против всего регулярного, солдатского, наконец, перенесением города в уединенное место, где ничто не соблазняло бы и не совращало казаков, пытался Платов вернуть казакам их старинную лихость, их вековую любовь к приключениям, поискам и походам, их любовь к военной славе, к коню, не кормильцу-пахотнику, а боевому товарищу...

Но не в силах, не во власти Платова было дать казакам арену для воинских потех. Русь-матушка в могучем росте захватила в мощные объятия свои и Кубань-реку, и крымские степи, и строго запретила донцам шалить по Волге да по Синему и Хвалынскому морям.

Анахронизмом являлись поиски и набеги. Ермака наградили царством сибирским, а Емельян Пугачев и Кондратий Булавин, которым тоже «не было от силушки их моченьки», – нашли бесславную смерть на плахе.

Не в Новочеркасск надо было переносить донскую столицу, а выводить все войско Донское на Аму-Дарью или на Амур, чтобы поставить их там пионерами русской цивилизации, охранителями русских интересов и русской силы. Но войны, с одной стороны, а с другой – слишком большая ответственность не дали развиваться в мозгу Платова этой идее, и мечтал он уединением столицы отдалить ту минуту, когда казак обратится в мужика!

Наполеоновские войны, вся эта бранная эпоха начала XIX века, дали возможность казакам доказать всему миру, что они достойны уважения, достойны любви к себе и забот...

Тяжела была весна 1812 года для всего донского казачества. Каждый день прибегали от Платова курьеры с предписаниями готовиться к походу на Неман.

Кряхтя и охая, садились старые полковники, ветераны екатерининских войн, на косматых маштачков и комплектовали полки.

По всем станицам шло оживление. Полковники, согласно получаемым инструкциям, требовали однообразной и форменной одежды. Чекмени должны были быть у всех синие, однобортные, застегнутые на крючки, чакчиры того же сукна с широким лампасом, кивера бараш-

ковые с длинным цветным шлыком и этишкетом. Цвет шлыка, лампаса и выпушек на рукавах и воротниках должен был быть по полкам – красный, желтый, оранжевый и лиловый... Пики должны были быть красные, сабли одинаковые, ружья кремневые, драгунского образца.

Так требовали полковники, но требования их оказывались «гласом вопиющего в пустыне», и на смотрах полк горел как маков цвет. Попадались желтые, красные мундиры, попадались мундиры иностранных полков, в минувшие войны отбитые у врагов...

Иные щеголяли в черкесках, иные надевали короткие гусарские куртки, были и высокие и маленькие сапоги, были даже просто валенки. Рядом с кровными арабами, турецкими и персидскими конями стояли свои, доморощенные коняки, косматые, толстомордые и грустные.

Офицеры, да что офицеры, сами полковники не знали команд. Одни командовали: «С Богом! Ступай!», другие: «Ну, трогай!», третьи по-регулярному: «Марш»... Урядников опытных, бывалых было мало. Зато среди безусой молодежи много было бородачей, уже смоставшихся в седьмом году на Неман, много было людей, знавших Дунай не хуже Дона и на практике изучивших артиллерию и фортификацию. Зато попадались такие люди, что без компаса находили страны света: восход, закат, сивер и полудень, что с первого слова запоминали и повторяли, не коверкая, даже такие мудреные слова, как: Мариенвердер, Фалысенштейн, Фридрихсгафен и прочее, что чистым французским языком спрашивали: «*Qui vive?*»<sup>26</sup> и спокойно отвечали «*soldat*»<sup>27</sup>, что на карьере шашкой разрубали барана, а пикой попадали в брошенный пятачок и без промаху стреляли.

С одеждой и амуницией хлопот было много. Войсковая канцелярия, вняв воплям полковников, доставила ленчики, кожу, сукно всех нужных цветов, мерлушку, дало на руки полковым командирам и деньги, но мастеров... не дало.

Кто помоложе – смутился. «Письменюга» Каргин, полвека просидевший за книгами, а с 1805 года бывший учителем в Новочеркасском окружном училище, и совсем растерялся. Туда, сюда, тыц-мыц – ничего не поделаешь. Сукном завалена вся канцелярия, полковой писарь ежедневно пишет приказы, которых никто не читает, щепы сохнут в амбаре, а казаки пьянствуют на станичном майдане. Совсем закрутилась голова у бедного «письменного» человека.

И совета спросить не у кого. Сосед Сипаев злейший враг его – разве пойдешь к нему за советом?!

Но не в характере казака оставлять товарища в беде.

Поздним мартовским вечером, когда туман навис над черной грязной степью, зашлепали конские копыта под окнами каргинской избы, раздался суровый голос: «Подержи лошадь», застучал в сенях кто-то тяжелыми сапогами, отряхивая степную грязь, что комьями поналипла на голенища, дверь отворилась, и в комнату вошел Сипаев.

Каргин сидел в расстегнутом чекмене и что-то писал. Нехотя встал он и застегнулся. Он понимал дисциплину и помнил, что Сипаев был старший.

– Ну, пан полковник, бросим вражду; дулись, сердились, бранил ты меня, корил взяточничеством да грабежами попрекал – Бог тебе судья.

– Я ведь и ошибиться мог, Алексей Николаевич «*Errare humanum est*»<sup>28</sup>, – говорит латинская поговорка, «несть человек, иже умрет и не согрешит», – сказано в Писании. Прости мне на милость.

– Я не сержусь. Как с полком?

– Плохо, Алексей Николаевич. Никак не управлюсь. С войска выдали голые щепы, а у казаков седел нет. Сукно получено – чекмени некому делать отдать. Давать швальнистам на сторону дорого, да и когда-то управятся они. А тут через месяц идти к Гродну, да к маю там

---

<sup>26</sup> Кто идет? (*фр.*)

<sup>27</sup> Солдат (*фр.*)

<sup>28</sup> Человеку свойственно ошибаться (*лат.*)

быть – сам Платов смотреть будет, а ты сам знаешь, что он за человек. Живо подтянет, коли что не так.

– Кабы через месяц идти – не пришел бы я к тебе вызволять тебя из беды, еще бы посмотрел, как ты «письменный» свой ум напрягаешь... А то через две недели поход, а в две недели тебе, видит Бог, не управиться одному.

– Как через две недели?

– А так. Очень просто. Получен приказ.

– Да как же? Ведь сказывали, в середине апреля...

– Ну, а теперь сказали – в конце марта.

– Но ведь я ни одного ученья не успею сделать?! – в отчаянии, хватаясь за голову, воскликнул Каргин.

– И не надо!

– Боже мой! Ты шутишь?.. Как же не надо?!

– А так. Очень просто. Ну, слушай. Ты только хозяйство справь, а там не беспокойся – полк сам собою будет не хуже других.

– Станный ты человек. Само собою ничто, кажись, на белом свете не делается!

– Ну, вот. Ребенок – раз. Ты его и не хочешь, да он у бабы родится, а казачий полк – два. Как по шучьему велению сформируется.

– Эх, не до шуток мне, Алексей Николаевич!

– Да я и не шучу. Ну, утро вечера мудренее. Вижу, совсем раскис человек. Прикажи ты мне постель сделать, коня прибрать, казака моего покормить да вечерять сготовь. Да покличь сюда сотенных да вахмистров..

– Но у меня нет сотенных.

– Как нет?! Ведь есть же старые казаки, есть офицеры войска Донского?

– Есть-то есть. Да молоды очень. Все мне юнцы попались – пятнадцати да восемнадцати лет – все хорунжие, первый раз в полку.

– И ни одного старого?

– Есть один.

– Кто?

– А знаешь – есаул Зюзин.

– Ну, знаю. Где же он?

– Он при канцелярии.

– Напрасно. Его перед строй. С хорунжими твоими дядьки из старых казаков наверное есть?

– Кажется, есть.

– Кажется... Я тебе говорю – наверное есть. Какой же отец, какая мать юношу-сына отпустит на войну без провожатого – старого, бывалого казака.

– Так толку-то что из этого?

– Как что? Неужели, «письменный» ты человек, не сообразил еще?

– Эх, брат. Голова кругом. С книгами-то много легче.

– Вот то-то оно и есть. Иной раз добычу возьмешь, так не даром же? не зря? А за труды праведные – так полагаю?.. Ну, слушай: завтра дядек вместе попытаем, да у кого дядька неопытней, тем и сотни давай. В два месяца, да особенно коли война будет, не узнаешь свою молодежь – любо-дорого посмотреть будет.

– А обмундирование, а снаряжение?.. – оживая, спросил Каргин.

– И это придет. Подожди. Вот нам водочку подали, вот и таранька, а после езды-то по этой гадости важно пьется...

– Ну, на здоровье. Не обессудь на плохом угощении.

– А что угощение! Саме казачье. Водочка да рыбка, чего же еще больше.

– Постой, и бараний бок с кашей подадут.

– Ну, чего ж лучше. Спасибо. А завтра чуть свет за работу. Не вру – доволен будешь и увидишь, как все легко делать с этим народом. Да, брат! Казаки ведь – не солдаты! Понял ты-то аль нет?

После ужина Сипаев лег на Сеннике, приготовленном для него, и заснул крепким, здоровым сном усталого, измаявшегося за день человека, а Каргин почти до утра ворочался на постели и думал он, что устроится его полк, и не верилось ему в возможность что-нибудь сделать с этим пьяным сбродом.

Чуть брезжил свет и станица спала крепким сном, когда по улице побежали урядники, а за ними и молодые безусые хорунжие, громко крича: «Которые люди Каргина полка, выходи, пешки, на майдан и становися в две линии».

Зашевелилась станица, потянулись люди по грязной дороге, и вскоре шестьсот человек стали в две шеренги на майдане против Москалева кабака. Иные, не проспавшиеся после вчерашней выпивки казаки стали сзади, пряча всклокоченные волосы и опухшие лица за спинами товарищей односумов.

Хорунжие стали впереди, и сзади каждого, шагах в трех, расположились пестуны – старые казаки с крестами за Браилов, Фридланд, финляндский поход и даже за Измаил. Сановито глядели суровые старцы, выпятив грудь, увешанную медалями, и зорко следили за панычами, чтобы все у них было по форме и в аккурате.

Ведь на станице сказывали: приехал к Силаеву бригадный полковник, дюже сердитый, – вестовой его вечером в кабаке говорил, что в полку их народу немало перепорол, да что еще дальше будет...

Стоном стонала станичная площадь от тысячи голосов, которые кричали и перебивали друг друга, передавая свои впечатления. Грязные губастые лица, в киверах и папахах, были оживлены, и во многих углах спор грозил перейти в драку.

В это время вдали показались две фигуры: одна высокая, статная, другая чуть сторбленная, не имевшая воинской выправки. Серебряное дорогое шитье так и сверкало при бледных утренних лучах, и донские полковники, медленно вытягивая ноги из грязи, подвигались по улице.

– Замолчи, честная станица! – крикнул, выходя вперед, старый лысый есаул со многими медалями и крестами, и дребезжащий, звонкий голос его разнесся по всему майдану.

Шум перекатился, подобно волне, крикнуло еще два-три голоса, кто-то кому-то угодил кулаком по ребрам, раздалось ругательство, вздох, а потом голоса стихли.

Мертвая тишина воцарилась на площади; казаки повернули головы в сторону полковников и зорко оглядывали приезжего Сипаева.

А он спокойно, будто и не для него сделалась эта тишина по майдану, будто и не ему командовали: «Смирно», шел рядом с трепетавшим от непривычного вида строя Каргиным и продолжал свою беседу. Дойдя до середины строя, он снял кивер, поклонился казакам в пояс и зычно крикнул:

– Здорово, атаманы-молодцы!

Все старые дружно ответили «здравия желаем, ваше высокоблагородие», молодые чуть призамялись.

Пройдясь вдоль фронта и зорко поглядывая на казаков, Сипаев узнавал многих ветеранов.

– Что ж не со мной? – обратился он к высокому, как коломенская верста, казаку. – Ведь в Финляндии со мною был.

– Не довелось, ваше высокоблагородие. Как ваш полк-то откомплектовали, я больной в те поры лежал. Оправился, а меня к ним записали.

– Ну, выйди вперед. Ты хороший казак – будь урядником.

– Покорно благодарю.

Пройдя до конца строя. Сипаев познакомился с хорунжими, оглядел их дядек, спросил, кто какого роду, и по дядькам да по старым кумовским знакомствам роздал им сотни, полу-сотни и десятки. Собрав дядек отдельно, он погрозил кулаком этим заслуженным старикам и сказал:

– Смотри, ребята, коли ежели что не как-либо что, а что-либо как – заporю! Ей-Богу, не посмотрю, какие на ком регалии, а заporю, и все!

– Постараемся, ваше высокоблагородие! – в один голос ответили пестуны.

Потом началась разверстка сотен. В сотню шли земляки-одностаншники, во взводы, десятки и звенья – казаки-односумы, что одной сумой пользовались, что из одного котла хлеб, соль ели. Разверстав сотни, Сипаев приказал полковому писарю и офицеру, которого наименовал «квартирмейстером», поделить сукно и щепы поровну на пять частей, по числу сотен, вызвал в каждой сотне шорников, седельников, портных и чеботарей – оказалось, что под мощным влиянием гулко-го голоса, что звенел и переливался по майдану, добрых две трети вчерашних пьяниц оказались прекрасными ремесленниками.

– Господа сотенные командиры, задайте работу, – обратился Сипаев к хорунжим.

– Да они ничего не умеют еще! – сказал было Каргин, но полковник перебил его.

– Ничего ты не знаешь, не порочь свое офицерство! Они прекрасные служаки.

Хорунжие, сопровождаемые пестунами, разошлись по сотням. Сотни обступили их кругом, и каждый как умел держал к ним речь, увещая служить как возможно лучше и не оставлять их, своих начальников, в трудные минуты.

– Постараемся, постараемся! Будьте благонадежны! – кричали казаки.

По окончании речи выступили вперед седовласые дядьки и начали толковать с мастерами.

– Да ты шил ли когда-нибудь, Мохамед несчастный? – спрашивал, шипя беззубым ртом, пестун.

– Шил, дяденька Иван Егорыч, я знатно шил. Малолеткой у немецкого портного обучался, – дребезжал молодой голос.

А в другом углу слышались восклицания:

– Ты приструги-то так не накладай – оно этак-то поспособней будет. Постой, я зараз покажу – на, гляди – во как!

– Ага! Ладно, смекаю. Оно из-под исподи надоть. Ну, ладно. И этак можно, нам все единственно!

– Ну, нам больше нечего делать, – сказал Сипаев, обращаясь к Каргину. – Пойдем обедать, уже время. А после обеда лошадок посмотрим да оружие. – И, обращаясь к казакам, он громко крикнул: – Замолчи, честная станица!

Опять не сразу смолкло. Где-то урядник толкнул легонько в зубы. «Ишь, заболталась, сорока!» – сказал сердито помощник сотенного, кто-то еще звонко выкликнул: «Подборы не дюже!» – и площадь затихла.

– Атаманы-молодцы, послушайте! Зараз пойдете на обед, а после обеда веди коней показывать на обротке и неси всяк свою справу.

– Слушаем, ваше высокоблагородие! – гулко ответили казаки.

Закипела работа в полку. Вчерашних пьяниц узнать нельзя было. Тут строгали, там шили, мяли кожи, резали ремни, станичная кузница бойко работала стремена, откуда-то появились дорогие кавказские, серебром набранные уздечки, мундиры шились чуть не по мундиру в день, и крепко и прочно шились, домашние зипуны и пашетуки укладывались в седельные подушки на время похода. Сипаев уехал, осыпаясь благодарностями Каргина, а в полку кипела работа, и вчерашний забитый, не знавший, за что и как приняться «письменюга» поднял голову и только покрякивал, разгуливая по мастерским да указывая, что так, что не этак.

И, к несказанному удивлению Каргина, под руководством пятнадцатилетних сотенных командиров да урядников, полк в две недели обшил по форме, по форме остригся, снабдился седлами и оружием и совсем готов был к походу.

Накануне выступления к Каргину опять заехал Сипаев. Каргин не знал, куда его усадить, чем угостить. Но это был не прежний забитый Каргин, у него и тембр голоса был не тот, он не унижался так перед своим благодетелем.

– Ну, брат, как вести думаешь? – спросил Каргина старый полковник.

Каргин живо достал из сундука недавно выписанную из картмейстерской части карту и показал на дорогу.

– Вот по этой дороге. Высылаю авангард на три версты: впереди головной отряд, сзади – тыльный.

– У, мучитель! Ну зачем так? Что, разве война у нас? враг кругом?.. Пойдешь всем полком, ну, как ты в это тяжелое раннее время прокормишь и людей и лошадей? Где тебе столько фуража дадут?

– А как же?

– Веди по звеньям. Собери полк и скажи: к первому апреля быть в Белостокской области у Добровольщизны – вот и все. А там будь без сомнения – урядники и бывалые казаки и без тебя все, что надо, сделают. И в раз придут куда надо. Тут у них и сметка выработается, и как раза два поголодают, научатся, как и с жителем обращаться, где силком брать, где хитрецей, где просьбой, а где и купить надо. Весь полк деревня не прокормит, а десять, пятнадцать человек с удовольствием примет. Обещай им, что кто в срок в Добровольщизну не прибудет – запороть до смерти. Будь спокоен – такая смекалка явится, что без компаса и без ландкарты добредет куда надо. Для проверки назначь несколько пунктов. Да пускай не всех сразу, а по сотне, по две в день.

– А не разбегутся? – боязно спросил Каргин.

– Ах ты, письменюга, и впрямь письменюга! Ну, был ли пример, чтобы казак со службы бежал? И русского-то беглого на деревне не ахти как примут, а казака и совсем со свету сживут. Ну, прощай! Смотри не мудри, больше свободы: казаки у тебя – не солдаты!

– Ну, бывай здоровенек! Спасибо на добром совете.

– Не на чем.

Полковники расстались. И на другой день потянулись «партии» Каргинского полка, от селенья до селенья, питаясь чем Бог пошлет, как птицы небесные, не имея ни провиантских, ни фуражных денег, но довольствуясь «от жителей, а жители, по свойственному русским гостеприимству, радостно принимали казака в свою хату, слушали его замысловатые, фантастические рассказы про горы «высоченные и страшные», что доводилось им проходить, про горы «игольные и сахарные», откуда сахар везут, про белую арапию и двуголовых людей, про колдунов и чертей. Иная заслушавшаяся хозяйка и не замечала, как чисто вылизанная после щей ложка исчезала в голенище высокого сапога, а торбочка с овсом, заготовленная к посеву, сыпалась в кормушку добру коню... Благословениями и добрыми пожеланиями провожали казаков при отъезде, и проклятия сыпались на чубастые головы, когда на другой день оказывался недостаток взятых на память вещей.

И так стекались к границе Варшавского герцогства пятьдесят полков, сила с лишком в девяносто пять тысяч человек и лошадей...

## VIII

*Ну, наварила на Маланьину свадьбу...  
Старая казачья поговорка*

Всякого человека, приехавшего в эту пору в Черкасск из Петербурга, встречали бесконечными расспросами, что говорят о войне, о Наполеоне, да точно ли правда, что не объявили еще войны, может, дерутся уже давно, да нарочно про то не пишут. Правда ли, что комета может зажечь землю, и верно ли, что в Петербурге образовалась новая вера, к которой многие важные персоны пристали, и поклоняются мертвой голове и треугольнику. Брешут или точно говорят еще и про то, что питерские по-русски не говорят и Наполеону подносят адрес и изменяют России; летал ли Наполеон в Париже на особой машине на манер мыльного пузыря и правда ли, что у нас нет главнокомандующего?

Таковыми праздными вопросами был осыпан, между прочим, и штабс-ротмистр лейб-казачьего полка Рогов, прибывший за сменной командой из Петербурга.

Молодой штабс-ротмистр являлся в Черкасске персоной и отлично понимал это. Он носил узкие чакчиры, на манер регулярных, красный мундир, особенно подкручивал усы и брил бороду так же, как брил ее Император Александр, оставляя небольшие баки. Но «quod licet Jovi, non licet bovi»<sup>29</sup>, и донские старики и старухи косо смотрели на российское брадобрейство и вычурные манеры штабс-ротмистра.

Рогов держал себя очень важно. Армейским офицерам он подавал два пальца, а иных удостаивал только кивком головы. Кое-кого из не ушедших еще с полком атаманцев он почтил своим посещением, но больше пребывал в домах знати, где водились хорошенькие дочки с большим прилагательным.

В сущности, Рогов был добрый малый и вовсе не фат, но такова натура человека. Забалууй его судьба, и он сам нос задерет, а в Черкасске как-никак он был первым кавалером...

Старые полковники и есаулы, которые могли сделать ему некоторое «ассаже», были при полках, на походе и на границе. Иные уже растягивали свои полки кордоном от Суража до Добровольщизны, самые старые не пользовались большим авторитетом в глазах Рогова, называвшего их старым хламом, а зеленая молодежь восторгалась его манерами и спешила их перенимать и запоминать его выражения.

К величайшему несчастью молодого Каргина, так и не ушедшего по вялости характера на службу в полк, лейб-казачий штабс-ротмистр постоянно торчал в доме Сипаева, и увлекающаяся Маруся Силаева не могла отвести восторженных глаз с гвардейского казака. Уже одно то, как он говорил «mademoiselle», утрая «I», приводило ее в сладостный трепет, и нежные усы и сладкие разговоры Каргина бледнели перед длинными надушенными усами Рогова и его красивой болтовней.

Каргин охал и вздыхал, бросал красноречивые взгляды на Марусю, но она не замечала или не хотела заметить, как бледнел и худел молодой казак.

Благодаря присутствию Рогова, в доме Силаевых было много гостей, и Николай Петрович даже объяснить не мог с жестокой Марусей.

– Ну, что атаман? – спрашивали Рогова как-то под вечер.

– Атаман?! Да, атаман... атаман ничего. Ездит во дворец. Кажется, будет назначен начальником легких войск. В большом фаворе у вдовствующей императрицы, побил у нее всю посуду.

– Как так?

– Саблищей своей двинул, ну и побил.

– Ах ты, Боже мой милостивый! – с ужасом всплеснула руками Марусина тетка, старуха Анна Сергеевна. – Ну и что же?

– Ничего. Как ни в чем не бывало! Сказал только: «Казак чего не возьмет, то разобьет» – и все.

– Экий молодец! – воскликнула Анна Сергеевна.

<sup>29</sup> Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (*лат.*).

- Мужик просто! – сквозь зубы процедил Рогов.
- Находчивость-то какая! Просто прелесть! – не унималась старуха, грызя тыквенные семечки и сплевывая их в тарелку. – Ну, а что племян мой, Петя, поделывает?
- Коньков-то?
- Ну да. Ординарец-то платовский. Молодчина казак. Поди-ка, расту-то в нем теперь – косяя сажень! А глаза такие зеленые! Люблю молодца – проскакать ли с джигитовкой, стрелнуть – это первое дело! И до девок неохоч, настоящий казачина!
- Неохоч? Ой ли, тетенька, восхищаетесь племянником зря... В немку, слышать, влюбился.
- В немку... Ой, врешь? Испытуешь? Грех тебе Петеньку моего обижать!
- Зачем мне обманывать, parole d'honneur<sup>30</sup>, влюблен в немку-балетчицу...
- Это что за слово такое? – быстро, с тревогой спросила старуха. – Не слыхала никогда.
- Как бы вам объяснить попонятней. Ну вот что на святках голые пляшут перед народом.
- Господи Боже мой! С нами крестная сила! Да неужели же есть в Питере такие срамницы!
- Есть, тетушка. Петя-то ваш и влюбись в такую да предложение ей сделай!
- Да неужто предложение! Атаман-то, старый дурак, чего смотрел!
- Атаман сам сватом, слышно, будет.
- Сватом. Это за голую-то девку?
- Ну, тетушка, зачем так. Ведь он не век голая ходит, дома-то наряжается, как и вы!
- Кубелек<sup>31</sup> носит? Да?!
- Ну зачем непременно кубелек. В Санкт-Петербурге вы кубелька и за сто рублей не сыщете.
- Ну а все-таки, как она? Не совсем путаная? А? Девичий стыд не потеряла? А? Матушку-то свою выведет со стыда? После свадьбы-то в обед, как дело будет? Вы, девушки, не слушайте – у вас уши золотом должны быть завешаны.
- Как маков цвет зарделась Маруся, хотя и не много поняла из быстрых, сбивчивых распросов Анны Сергеевны.
- Не знаю... Не думаю. Я с ее двоюродным братцем знаком. Бергом прозывается, он в сенате служит, так он мне сказывал, что ее и не принимают нигде. Совестно такую шельму, значит, и родственницей объявить.
- Ах, Петя Петя! Родной мой, вот оно что значит, без отца-то да без матери быть да в Вавилон этот проклятый попасть! Слушай, Маруся, отпиши ты ему, непутевому моему, весточку, что нет ему тетушкиного благословения на брак с этой ба... бар... бил... тьфу, черт ее – не запомню.
- Балетчицей! – подсказал Рогов.
- Я-то неграмотна. В наше время девок так не держали, чтобы музыку, да книжки, да с казаками гулять, ну, зато и греха ни одна на себя до брака не брала! А нынче-то!
- Эх, правда, видно, конец века приходит!
- А дозвольте вас спросить, – вдруг раздался из угла густой бас соборного протодиакона, до сей поры мирно дремавшего в углу, – таким девицам нет отлучения от церкви? Или, может, их анафеме предадут за таковое неблагоразумное поведение?
- За что же, отец диакон, ведь Сам Христос простил блудницу?
- Лжеучение и ересь. То блудница, а то... – диакон замялся и чтобы переменить разговор, спросил о столице: – А что Санкт-Петербург большого размера буде град?
- Немалого, отец диакон. Станиц наших с сотню вместе, а то и более.

---

<sup>30</sup> Честное слово (*фр.*).

<sup>31</sup> Кубелек – национальный головной убор.

– Ну?! – с сомнением протянул диакон. – А река, Невою прозываемая, много хуже Дона будет?

– Лучше, отец диакон, шире и глубже. Пуще прежнего засопел недовольно диакон. Помолчал немного и продолжал:

– А Государя Императора Александра Павловича изволили лицезреть?

– Сколько раз видал, отец диакон, и во дворце да и так.

– И благочестивейшую Государыню Императрицу Елизавету Алексеевну тоже изволили наблюдать?

– Видал и Государыню-матушку нашу.

– И весь царствующий дом и святейший правительствующий синод тоже видали?

– Видал, видал, – небрежно кинул в ответ любопытному диакону Рогов и отошел к Марусе.

Вся так и зарделась она при виде петербургского гостя. И о чем говорить и как говорить, не знает. Однако не показать же ей этого, не признать же, что Дон хуже Петербурга.

– Очень вы восхваляете Петербург, поди-ка там и девушки лучше наших. С нами, деревенскими дурами, вам и говорить не захочется.

– К чему так, Марья Алексеевна? Есть в Петербурге славные девушки, но у нас на Дону они много лучше.

– То-то хорошие. Это что неприбранные в балетах пляшут. Срамно просто слушать, что говорите такое...

Услыхал Каргин, что не очень-то ласкова с гостем Маруся, и подсел поближе. А то раньше все у притолоки больше жался.

– Бывают, конечно, всякие... – промолвил штабс-ротмистр и покосился на Каргина. «Семинар, верно, – подумал он. – Еще, поди, из духовного звания. Пожалуй, тоже выспрашивать станет, видал ли я святейший правительствующий синод! Ну народ!»

– А скажите, пожалуйста, monsieur Рогов, что же подельвает теперь Коньков, он мой хороший приятель? – обратился Каргин к штабс-ротмистру.

– Что?.. Он поехал сюда... Да, именно... сюда, на Дон. Мне сказывал Берг, с ним что-то случилось. Проиграл казенные деньги, запил ли где, не знаю. Только что-то грязное, нехорошее. Вообще, знаете, парочка вышла бы хоть куда.

– Ну полно, полно, бреша, бреша, да зачем поклеп-то взводить на невинного человека, – перебила его тетушка Анна Сергеевна.

– Ей-Богу, тетя, так. Отлично помню, Берг мне говорил так. Да и почему же его до сих пор нет здесь? Он гораздо раньше меня уехал из Петербурга и уехал по курьерской подорожной.

– Так что случилось, вероятно. Но чтобы Петя Коньков проиграл казенные деньги или пьян был, да я никогда тому не поверю. Помилуй Господи! Он такой честный и правильный казак.

– Не знаю, тетя. Берг...

– Немчура, одно слово. Немцу выгодно клепать на казака. Ну, увлечься девицей он мог! Что же, былъ молодцу не в укор. Да точно ли девица такая плохая! Не верится, чтобы к гулящей бабе Матвей Иванович сватов для своего казака, а пуще того – для ординарца своего засылать стал. Полно. Тоже сказано: не всякому слуху верь!

– Как хотите, тетя! Мне-то ведь все одно, – равнодушно протянул Рогов.

– Как все одно, – зашипела старуха. – Стыдись, сын мой, так говорить! Все одно! Как может это быть так?! Ведь ты донской казак и он донской казак. Значит, заступиться ты за него должен был. Сказать этому Бергу-то – не ври, немец проклятый, твоего короля Бонапарт съел, так ты клепать на казака вздумал, подлая тварь... Вот твой ответ должен был быть каков! Не зря же говорит пословица: «Казак казака видит издалека!» Бедный Петрусь, где-то он теперь!..

С минуту все молчали. Рогов из печатных пряников сложил слово: «Люблю», показал Марусе и быстро смешал их. Вспыхнула Маруся, слезы показались на ее серых глазах.

Каргин тоже видал это. Встал он из-за стола и вышел из комнаты. Слезы душили его. Ему хотелось плакать и рыдать без конца. О чем плакать? О том, что он не служилый казак, что нет у него формы красивой, что не смел он говорить при народе, что робок и застенчив он был, как красная девушка?

Терзался он теперь о потерянном счастье, о Марусе, которую так трудно было привлечь к себе и которую он безвозвратно потерял.

А Маруся смеялась в ответ на шутки Рогова, на бойкий, остроумный рассказ его про столичную жизнь, и забыла она своего старого друга, Николая Каргина.

«Недурна бабенка, – думал тем временем Рогов, – нет, петербургским куда до нее, далеко. Формы какие! Свежесть лица. Стан настоящий казачий. Ну и табуны, что бродят по Манычской степи, село Высокое, густо населенное крепостными малороссами, с выборным старостой, республика французская в миниатюре, это тоже невредно будет похудевшему роговскому карману».

## IX

*В поле то было, в полюшке,  
Во широком было раздольице.  
Не сизые орлы солетались —  
Два братца родимые съезжались.  
Они родною роднёю сознавались,  
Бельми руками обнимались,  
Горячей слезой заливались...*

### *Старая казачья песня*

- Ну! Ну! Ожги! Ой-ох!.. Важно! Акимов!
- Нет, Акимов не допустит – увертливый казак.
- Глянь-ко еще.
- Ишь, славно бацнуло.
- Просите, братцы, лучше пардону.
- Эй, Пастухов, проиграешь!
- У, дура баба, сам подвернулся.

И опять жжж, жжж... Словно пчела жужжит. Громадное поле, насколько глаз может видеть, уставлено кострами казачьих пик, ружьями, лошадьми на привязях и покрыто казаками. Здесь кучкой, там шеренгой, тут по одиночке, а где немолчно идет жужжание – там большой толпой кругом, впереди пик, впереди лошадей.

Там атаманцы в «жука» играют.

Белокурый, худощавый, стройный и гибкий Акимов стоит, расставив ноги на полтора шага. В пояснице он полусогнулся, руки сложены ладонями вместе и поднесены ко рту, он, не сходя с места, так и юлит корпусом, издавая при этом жужжание на манер пчелиного и то приподымаясь, то опускаясь и склоняясь чуть не до самой земли – он «жучок». Партнеры его стоят справа и слева, тоже на расставленных ногах. Правый, высокий, черноволосый Пастухов с молодыми усами, касается своей левой ногой правой ноги Акимова, левый, Панфилов, касается своей правой ногой левой ноги «жучка». Руки у них на свободе, и ими они усиливаются ударить «жучка» по щеке. Но «жучок» не дается: чуть только взмахнет рукой Пастухов, Акимов уже склонился низко-низко и жужжит под самым ухом Панфилова. Норовит Панфилов ударить – Акимов жужжит Пастухову. А сам то и дело то левой, то правой рукой бьет по щекам

своих партнеров – не зевай, значит. У Панфилова щека уже припухать стала от мощных ударов «жучка».

Толпа кругом разношерстная. Тут и красавцы-атаманцы в синих мундирах, щеголеватые и выправленные, и армейские казаки полков Луковкина, Каргина, Иловайского, Карпова и других в цветных шлыках и лампасах, в домашних пашетуках и зипунах, и башкиры в рысьих шапках, и симферопольские татары в остроконечных, обшитых мехом шапчонках, и тептеры<sup>32</sup> в длинных полосатых халатах с луками и колчанами. Красивые губастые донцы выдвинулись вперед, а позади них видны косые глаза и желтые лица татар и башкир. При каждом ловком ударе лицо Акимова хитро улыбается и торжественно звучит жужжание, но зато кисло выглядит лик проигравшего – в толпе всякий раз хохот.

– Ох-хо, хо, хо, хо! – грохочут донские и атаманские громче всех, на басовых нотках.

– И-их, хи, хи, хи! – сипло заливаются татары и калмыки, и по желтым их лицам от удовольствия струится пахучий пот. Круг незаметно сдвигается тесный, задние напирают на передних, передние подаются вперед.

– Ну-ка, Акимов, еще! Э-эх, ловкий парень!

– Что, брат, Пастухов? «Видно, звонил кобель к заутрене, да оборвался!»<sup>33</sup>

Мрачно глядит Пастухов на сострившего.

– Не, братцы, бросьте. Иде же вам с Акимовым сладить. Они ж – до всего дотошны!

В толпе раздается дружный хохот.

– То-то остри. «О святках свинью запрягали да в гости ездили!»

– Сказал тоже!

– И-их, братцы мои. Акимов ладно бьет. Кабы француза так-то!

– То-то! Француз, он, братцы мои, подюжей будет, нежли Панфилов.

– Подюжей? Ой ли? А не брешешь?

– И брешет, наверно! Француз – он перво на бульоне воспитан, а второ в детстве их в оранжерее держат, ровно цветы у нашего генерала.

– Фастаешь!<sup>34</sup> У вашего генерала, окромя куста шиповника да бальзаминуса, ничего и нет!

– Ну ладно...

– Посторонись, посторонись! – раздаются голоса сзади, и в толпу протискивается несколько донских офицеров. Игра идет своим чередом.

– Ну, довольно! – кричит атаманский сотник. – Ишь Панфилова-то как обработал.

– Да я бы, ваше благородие, – говорит весь мокрый от пота, довольно улыбаясь, Акимов, – его и не так обработал еще, да левой рукой бить неспособно!..

Сконфуженный Панфилов прячется в толпе.

– Ну-ка, крячку! – кричит кто-то из казаков. Круг раздается шире. В середине вбивают кол, на него надевают петлей фуражный аркан, другой конец привязывают к ноге бесконечно длинного казака Кошлакова. Кошлакову платком завязывают глаза и дают в руки плеть. Точно так же на другую фуражирку привязывают ногу другого казака с «крячкой», то есть двумя палочками, одной гладкой, другой зарубленной. Глаза у него тоже завязаны. С «крячкой» пошел расторопный казак Зеленков.

Осторожно крадется Зеленков, прислушиваясь к дыханию противника.

– Кря-кря! – раздается в тиши – толпа теперь напряженно молчит. Кошлаков кидается по слуху, но Зеленков уже отошел, и удары плетью сыплются по воздуху. А за самой спиной опять трещат щепочки – «кря-кря!». Новая попытка и новая неудача. Зеленков ходит, осторожно

<sup>32</sup> Тептеры – стрелки-лучники.

<sup>33</sup> Каждая станица на Дону дразнится особой поговоркой. С казать ее станичнику – сильно обидеть его.

<sup>34</sup> Хвастаешь.

поднимая ноги и едва ими переступая, боясь зацепить за веревку противника. Но, не видя ничего с завязанными глазами, он подходит чуть не вплотную к Кошлакову и слушает у самой спины партнера, Кошлаков затаил дыхание. В толпе легкий смех; шиканье водворяет тишину. «Кря-кря», – робко, неуверенно и несмело крикает Зеленков, Кошлаков обрушивается на него всей тяжестью, оба падают и начинается потасовка. Из толпы подбегают казаки и развязывают обоим глаза. В толпе идут долго разговоры про игру.

- Слух надо особенный – дыхание слушать и соображать.
  - Мешают! Толпа-то – тыща человек! Где же услышать-то.
  - У кого уши хороши, услышит.
  - Так это надо лошадиные уши-то иметь.
  - Ну, сказал тоже! И лошадь в такой толпе не разберет!
  - Ну-ка, братцы, песню новую!
  - Гей, кто песни играет, выходи – его благородие заводить будет.
- Живо появились песенники и стали в круг около сотника.
- Ну, слушайте, ребята, и запоминайте – новая. – И сотник нежным тенорком запел:

На границе мы стояли,  
Не думали ни о чем,  
Только думали, гадали  
Приубраться хорошо;  
Приубраться, приодеться,  
На границе погулять.  
Вдруг последовал указ:  
Во поход скоро идтить,  
За Неман, за реку.  
Как за Неманом-рекою  
Француз бережком владел,  
Француз воин, француз храбрый,  
А теперь – несчастный стал!

И как ни в чем не бывало под теплым июньским солнцем раздалась казачья песня, ново-сложенная, примененная к новым обстоятельствам. И никто из этих высоких чубастых людей и не думал, что там за лесочком, что чуть синее вдаль, растянулась цепь аванпостов, что блещут там копыта казачьи и нет-нет пронесется протяжное «Слушай...» А за этой цепью идет пустое, мертвое пространство и что там такое за ним, за той деревенькой, что чернеет на косогоре, за блестящим изгибом реки...

Знают это одни только казачьи партии, что днем и ночью рыщут вблизи неприятеля, что не раз видали роскошно одетого короля неаполитанского с блестящей свитой, в числе которой были мамелюк и арап, проносащегося вдоль французских аванпостов.

И какое дело теперь казакам, что генерал Зайончковский сводит кавалерию польскую к берегу, что быстро готовят понтоны и мосты, вот-вот наведут, что не сегодня завтра обрушится двухсотсорокатысячная армия Наполеона на русских и первым, кто примет ее удары, кто прольет свою кровь, будут они, казаки.

- Им и горя мало, и весело звучит казачья песня, переходя из напева в напевы.
- Вдруг песня оборвалась, остановилась.
- Кто это едет? – спросил молодой хорунжий, приглядываясь вдаль по дороге.
  - С аванпостов, верно, кто, ваше благородие.
  - Аванпосты там, а едут оттуда – у, дура-голова!
  - Тогда, може, и на аванпосты, – не смутился казак.

– Будто бы нашего атаманского полку.  
– Атаманец и есть, – поддержал зоркий сотник, Балабин, начальник атаманских охотников.

- Куда бы ехать? В передовой цепи у нас Ребриков я Карпов, а это наш.  
– Ваше благородие, да ведь это хорунжий Коньков.  
– Бреши! – строго остановил Балабин. – Коньков-то, почитай, третий месяц, как помер.  
– Ну как же, ваше благородие, и конь их, Ахмет. Ужли я коня не узнаю...  
– Похож, Иван Степанович.

Всадники нажали шенкелями, привстали на стремянах, и через минуту Коньков слезал уже с лошади и обнимался с товарищами.

- Ты жив?  
– Жив, братцы мои, жив! Что перенес на России, того и в турецком плену не испытаетшь.  
– Ну, рассказывай!  
– После. А теперь скажите мне, где атаман?  
– В Гродно.  
– Надо сейчас ехать являться к нему.  
– Да зачем? Отдохни с нами. Новую песню послушай.  
– Эх, братцы! Не до песен мне теперь! Жутко, во как жутко идти до атамана.  
– Он не примет.  
– Аль не в духе?!  
– Да кто же его разберет! Вчера каргинский полк смотрел, уж и пушил, пушил его, я думал, полк отнимет. Нет – отошел.

– За чего же его так? Худой вид, что ли, у полка?  
– Вид? Нет, вид как вид – ни худо, ни хорошо. Обыкновенный полк, да и только, а сам-то Каргин, сам понимаешь, «письменный» человек – ну, и не того, не так чтобы гладко командовал. А лавой недурно даже ходили.

- Ну, чего же больше! Однако прощайте, братцы, во как хочу развязаться с атаманом.  
– Ну, с Богом!

Коньков тронул лошадь и со своим казаком поехал дальше по пыльной дороге.

– Фу-у, да и похудел же наш хорунжий, истосковался, бедняга! – сказал атаманский урядник ему вслед.

- А ты думаешь, легкое дело три месяца мертвым быть да воскреснуть! Тоже без пищи! Урядник только сплюнул на сторону и ничего не сказал глупому казаку.

И долго не начинались песни, и долго длилось молчание. С Дона приехал человек, донские вести привез – интересно послушать, что, как на Тихом Доне, как степь поднялась, высоко ли, и хлеба как пошли... Да и все хоть посидеть, потолкаться с человеком, что с Дона приехал, с тихого, с радостного, с дорогого Дона Ивановича.

Да, похудел, сильно похудел и изменился Коньков за это время.

## Х

### *Терпи казак – атаманом будешь. Казачья пословица*

И было с чего похудеть молодому казаку. Кроме перенесенного приключения, болезни и страданий, немало пришлось испытать платовскому ординарцу за это время... Да, немало и очень даже немало!

«Порученность» Платова не была исполнена вовремя. Правда, бумаги не пропали, они застали и нашли своих адресатов. Вульф украл подорожную, свидетельство Конькова да еще

кое-какие бумаги, а пакеты, самые важные, завернутые в кожу и туго привязанные к груди крест накрест вязанным Ольгой платком, остались при ординарце донского атамана. Но бумаги запоздали, и Коньков в срок не явился к Платову.

Достойное ли это дело для донского казака? Ведь Платов пять раз справлялся о нем, а он и весточки о себе подать не мог!

Но и это бы еще не беда.

Перед атаманом он оправдывается. Атаман пожурит его, и конец. Без сомнения, взбучка будет – но ведь он не виноват, что был болен, что лежал так долго...

И Платов простит – он добрый и умный.

Но как пережить, перенести те вести, что дошли «из верных источников» до его слуха в Новочеркасске? Как снести это?.. Если это правда только?

Но, конечно, неправда. Разве Оля может, да и дом их разве похож на такой, где все позволено? Это просто бабы сплетни, брехня одна, да и только. Оля его чистая, Оля его непорочная, ясная, святая его Оля! Об Оле недаром он молился каждый вечер, молился и просил у Всевышнего даровать ей счастье. И как просил! Вон в Писании сказано: «Скажи с верой горе: сдвинься и подойди, и подойдет». А у него не было разве веры?

А если?

Атаман все разъяснит. Рогов, фатишка, мог сбрехнуть зря для красного словца. Тетушка Анна Сергеевна натурально раздула историю – она же не может без этого. Ну, так вот и пошло. А атаман правду скажет. Зачем ему лгать, зачем обманывать. Если худая молва про его Олю дошла до Рогова, значит, она ходит по всему Петербургу и коснулась ушей атамана. А чуткие эти уши, особенно чуткие до всего того, что касается его милых детушек, то уже знает он досконально! Еще часок-другой, и улетят сомнения, и Оля, чистая, как кристалл, святая и непорочная, станет его путеводной звездой, его дамой сердца во всю эту кампанию. И храбро, смело, истово будет сражаться за свою даму сердца атаманский хорунжий. Вверит себя ее молитвам, и не побоится он ни сечи кровавой, ни вражеского огня, ни страшных атак, ни огнедышащих батарей. Украсится грудь его орденами, во имя ее полученными, прибавится слава и войску, и ему, и, вернувшись с войны, заживет он с ней счастливо и найдет в ней награду за все тягости, за все лишения казачьи!

А если правда! Если правда, что изменила ему его маленькая пташечка, что не ему одному светит яркое солнышко и не его одного называют дорогие уста своим казаком? Если сам Платов подтвердит роковое известие!

И тогда не поверит казак молве!.. Останется она для него ясная, чистая, неизменная... Но забудет он ее; забудет наружно, забудет навек и будет искать и найдет славную смерть в боях за родину от сабли французской. Еще большую славу заслужит он Тихому Дону, но слава эта будет куплена дорогой ценой – ценой его жизни! И, умирая, он повторит одно имя – имя своей Ольги – Ольги верной и неизменной...

С такими мыслями подъехал на вороном своем Ахмете Коньков к Гродно, разыскал дом атаманский и поднялся по лестнице в его горницу.

Не было страха в выражении лица его от ожидания атаманского гнева, не было дрожи в коленях. Не боялся он встретить сердитого атамана, но боялся лишь услышать роковую весть, боялся потерять свою драгоценность.

Был тихий, теплый вечер. В церквах служили всенощную, торговля была прекращена в лавках. Жида, постоянные жители Гродно, куда-то поубрались, и на улицах попадались только солдаты и казаки. Платов тоже был в церкви. В вере в Бога, в молитве церковной Платов находил лучшее отдохновение от трудов и тяжких мыслей.

Долго смотрел из окон платовской приемной на улицы засыпавшего города Коньков, и разные мысли были на душе у него. Надежда боролась с отчаянием.

Вскоре раздались шаги и кряхтение. То подымался Платов. Коньков недвижно замер у притолоки, взяв кивер по форме, касаясь пальцами лампаса. И поднялась высокая грудь, и смело смотрит взор его вперед.

Зорко оглянул Платов ординарца, и дрогнуло что-то в лице его. Не разберешь только что: радость или гнев.

– Здорово! – хмуро проговорил он и прошел в свою горницу. За ним прошел его казак, и все смолкло.

Шибко билось сердце Конькова от ожидания.

Платов был сильно не в духе. Генерал войска Донского Краснов был назначен в отряд младшего его чином генерала Шевича; недовольный Платов заступился за своего подчиненного и отписал к Ермолову письмо, где просил разъяснить ему: «Давно ли старшего отдают под команду младшего, и притом в чужие войска?»

От Ермолова был получен едкий ответ.

«О старшинстве Краснова я знаю не более вашего, – писал он атаману, – потому что из вашей канцелярии еще не доставлен послужной список этого генерала, недавно к нам переведенного из черноморского войска. Я вместе с тем должен заключить из слов ваших, что вы почитаете себя лишь союзниками русского Государя, но никак не подданными его»...

Письмо это Платов читал в своей канцелярии перед многими донскими полковниками. Все были жестоко возмущены. Правитель дел и особенно адъютант атамана войсковой старшина Лазарев советовали возражать Ермолову. Но Платов не рискнул бороться с сильным человеком и сказал своему правителю дел:

– Оставь Ермолова в покое. Ты его не знаешь: он в состоянии с нами сделать то, что приведет наших казаков в сокрушение, а меня в размышление.

Отделался этой загадочной фразой Платов, но не легко было у него на сердце. Сильно болела обида в нем, а понимал он, хитрым и изворотливым умом своим понимал, что надо ему съест, проглотить без остатка эту обиду, а иначе еще будет хуже его «детушкам».

Переодевшись в халат на беличьем меху, крытый синим сукном, он приказал позвать Конькова.

Молча вошел хорунжий к атаману.

Устремив на него испытующий взор, старик начал:

– Какой ты чиновник, какой офицер войска Донского, к которому имеешь честь принадлежать, когда не радеешь о славном имени, которое носишь на себе, когда забываешь Бога, отца и мать своих славных?! Тому ли учили предки твои? За то ли видишь на себе монаршие милости? Или всегда я должен за вас всех отвечать? Стыдись, господин мой, надо во всем знать честь и бояться Бога! Где кутил ты, где пьянствовал и безобразил столь долгое время? Отвечай, господин мой!

– Не кутил и не пьянствовал я, ваше высокопревосходительство, – тихо отвечал Коньков, и понемногу голос его стал возвышаться, и смело заговорил он: – Опоенный зельем, ограбленный злыми людьми, искавшими из корысти или из других причин погубить меня, лежал я больной на станции, а потом задержан был через одного жестокого помещика, имени которого я и помнить не желаю... В одном виноват перед вами, ваше высокопревосходительство, что тогда еще, в Петербурге, не рассказал вам, как имел я случай оскорбить одного знатного господина...

С минуту помолчал Коньков. С духом собрался, а потом начал и толково и ясно рассказал все как было. Как угостил его «неизвестный немецкий незнакомец», как с его зелья впал он в тяжелое сонливое состояние.

– И казак мой, Какурин, был тоже опоен и разбитый, с проломленной головой еле дышал в моем тарантасе. Я поздно проснулся. Едва не двое суток лежал; по мне уже молитвы читать собирались. Очнулся я и был так жестоко слаб, что малейшее движение кидало меня в пот и

начинался новый обморок. Однако, ощупав платок, что крест-накрест проходил по моей груди, и увидав, что пакет с бумагами вашего высокопревосходительства цел, – я воспрянул духом. Смотритель ходил за мной плохо. Меня перенесли в избу, положили рядом с казаком моим на полатах и редко даже давали есть. С того, мне кажется, мы медленно и оправлялись.

Внимательно слушал своего ординарца Платов.

– Недели через две, однако, почуял я в себе силы настолько, что мог подняться. Тогда пожелал я надеть свое платье. Оказалось, что немец унес мой кафтан и чак-чиры, предоставив мне свой костюм, но так как имел он куриные ножки и узкую грудь, то и не мог я натянуть на себя его вольного платья. Несмотря на это очевидное доказательство, что я есть хорунжий войска Донского и лицо потерпевшее, смотритель, да и никто не желал нам верить. Смотритель попрекал меня и казака моего, тоже раздетого, в дармоедстве, называл беглыми крестьянами и требовал плату за харчи и постой. А у нас ничего не было. Проезжий помещик, которому были мы представлены и у которого я, как офицер войска Донского, просил защиты, к несказанному нашему удивлению, признал в нас беглых холопей своего соседа, но согласился взять к себе для работ и дать нам мужицкую одежду...

«Терпи казак – атаманом будешь», – подумал я и почел это за лучшее, чем сидеть на скудном довольствии у грубого смотрителя. И притом лелеял я надежду, что смогу своим образованием и знанием языков доказать свое происхождение.

Но... но помещик и слушать нас не стал. Нам назначили сначала работы при доме его, а потом стали гонять на пахоту. Всем холопам его я доказывал свою историю и несчастье. Многие жалели меня, но нигде не мог я найти себе защиты. Тогда я примирился с своей судьбой и стал измышлять планы бегства. Нас держали, как беглых, строго и никому не показывали, полагаю, потому, что боялись, что будем мы открыты и отобраны от неправильного помещика.

И пришла мне тогда знатная идея. Были у того помещика на конюшне сильные и крепкие лошади – и задумал я тогда, что не грех их украсть. С ними, думал я, как-никак и порученность исправлю я вашу, и не уроню звания донского офицера. Посоветовался я с Какуриным. Сей преданный слуга мой сильно задумался. Трудно украсть коней из-под замков и запоров, под которыми их сберегали, да и конюха спали всегда на конюшне, и строгий приказ им был отдан: пуще глаза беречь дорогих коней. Однако говорится: «Голь на выдумки хитра». Вот мы и надумали. В те поры у помещика набивали новые перины, и на дворе, в особо устроенном ящике, было насыпано страсть сколько перьев. Хлопцы конюшенные были народ не дюже умный и до всяких историй послушать охочий. Под вечер зачал я им рассказывать, где были и что видели. Сказал я им, что и покойников выдывали, и упырей, и вурдалаков в Молдавии встречали.

– А може, – спрашивают хохлы, – пан-казак и самого черта видав?

– Видал, говорю.

– А який такой на вид?

– А ровно, говорю, человек, перьями обросший, а рога-то бычьи.

– Ось, говорят, який страшный.

– Нет, говорю я, черт не страшный, а дюже веселый – он насчет пляски первый затейник.

А Какурин сидит тут да смекает, значит, как бычачьи рога достать надо. А у барина были рога с тура. В кабинете висели, а я думаю, достанет чертов сын или нет?

Достал! Стало смеркаться, стража на ужин пошла. Мы сказали: «Не хочется».

Поснимали мы свое платье, сложили на полатах, как быть следует, положили вместо себя кулечки и накрыли их зипунами. А сами в чем мать родила выскочили во двор, достали мазницу, чем колеса мажут, и ну друг друга намазывать. А потом к ящику перьяному, да в перьях и выкатались. Умора – какие страшные стали, а Какурин рога достает да скрипочку; подвязали мы рога, глянули в колодезь, да самим страшно: такой вид сверхъестественный стал. А уже темно совсем было. Прошли мы на конюшню и залегли наверху, на сене; лежим. Тихо все, а

сердце-то так вот и бьется и трепещет... Прошло не более как с полчаса времени, скрипнула дверь, вошла стража, принесли фонарь, достали замусоленные картишки, и ну играть в носки.

А я возьми да на скрипочке и пискну тихонько.

– Слыхал, – говорит, – Остап?

– Не, это так только попричтилось.

– Попричтилось и есть! – И замолчали.

А я опять – и завозись мы наверху на полу, замяукай и завозись. Лошади захрипели, бьют ногами, беспокоятся.

– С нами крестная сила! – шепчут хохлы и играть бросили.

А я тем временем на скрипочке уже форменно казачка нажариваю, а Какурин спрыгнул да насандаливает по коридору. И в дугу изогнется, и рукой поманит, а сам ровно тетерев чужфюкает. Повалились мои хохлики, позакрылись с головами свитками, лежат, ровно окочурились. А мы сверху – да к коням, надели уздечки, сняли запоры – и во двор. Собака было тьякнула, да сама оторопела, поджала хвост да в конуру забила, а мы ворота настезь да с места в карьер и пустили.

Сбежало суровое выражение с лица Платова. Ласково улыбался он своему ординарцу во время рассказа, и когда дошло дело до казачка, то громко и неудержимо расхохотался донской атаман.

– Так, говоришь, казачка наяривает?! Ну, молодцы! Ну как, я вам скажу, не любить донских казаков! Ну, распотешил, Петр Николаевич, страсть распотешил. А далее – так в перьях и до Черкаска?

– Никак нет, ваше высокопревосходительство. Отъехали мы верст, надо полагать, поболее полутора за ночь. Кони совсем уже приставать стали, да тут в озере и обмылись, а потом напали на двух мужиков и отняли платье...

– Ну, спасибо, голубчик! – ласково сказал Платов. – Да что ты такой пасмурный? Я вам скажу, не след донскому казаку невеселу быть. Не сегодня завтра война начнется, а где же казаку и потеха, как не на войне? Или ты, государь мой, на меня обиделся, что пожурил тебя понапрасну. Я вам скажу, грех на старика обижаться!

– Смею ли я, ваше высокопревосходительство, сердиться на вас. Вы одни можете утешить меня.

– А что такое, голубчик?

– Как был я в Новочеркаске, ваше высокопревосходительство, то был там лейб-казачьего полка штабс-ротмистр Рогов и сказывал, будто невеста моя нареченная сбилась с пути истинного. И не знаю я – то правда или нет?

– Ничего я не знаю, государь мой. Не след казаку накануне битвы думать о бабе. Не казачье это дело, – и зорко глянул атаман на своего ординарца, глянул, словно насквозь прожег, и смягчился.

– Бывал я в одном доме. Клингели, отец с дочерью, тоже туда хаживали. Последний раз, с месяц тому назад, сижу я у них, звонят – Ольга Клингель. А старуха хозяйка гневная встает и говорит лакею: «Не принимать». А потом мне пожаловалась: «Все, говорит, ваши казаки ее избаловали».

Как полотно побледнел молодой казак, покачнулся даже и вышел из комнаты атамана... Не мила ему жизнь! Не мил белый свет.

Темно в атаманской приемной, тихо. Чуть тикают часы, да внизу, слышно, жильцы возьмется, спать собираются.

«Так это верно?! Казаки избаловали... Не казаки, а казак. С его легкой руки пошла гулять Оля. После его пылких поцелуев захотелось еще и еще. Век целоваться. Порядок известный. Все бабы на один лад скроены! Вот и Оля оказалась не лучше других... Но с кем же, с кем она целовалась?!» И силится вообразить себе Коньков Ольгу в объятиях другого и не может

никак, и вместо того иная встает перед ним сцена. Видит он Ольгу с искаженным страданием лицом, и бледные губы шепчут: «Позор! О, позор!..»

«Нет, не могла согрешить моя Олечка, не могла моя голубка сизокрылая обмануть меня; не могла, никак не могла! Из-за него пострадала она! Увидал их тогда вместе проклятый Берг и пустил про бедную, беззащитную девочку худую славу!»

И склоняется молодой казак перед образом, и жарко и горячо молится он Всевышнему за свою дорогую, ненаглядную Олю.

– Господи! – шепчут его уста. – Дай ей счастья, Боже, Боже мой! Если виновна она перед Тобой, накажи меня за нее – я во всем виноват. Пусть бесславно погибну я в этой кампании, пусть умру не на поле брани, а в госпитальной койке! Боже, Боже мой! Я так свято и чисто люблю мою Олю, мою лучшую драгоценность, мою радостную голубку, сохрани ее во имя нашей горячей любви. Ты сам заповедал любить. Твое жаркое солнце, твой бледный месяц, тенистая гуцизна аллей садов и мягкая мурава лесов разве не говорят они – люби! люби! И я люблю ее так свято, как только могу я любить! О, Господи, отыми ее от меня – отдай другому, пусть только она будет счастлива.

И долго, долго молился молодой казак, и облегчила его молитва... Усталость взяла свое, и крепко заснул на лавке ординарец атамана войска Донского.

Ночь уже переваливала на вторую половину, когда, запыхавшись, вбежал наверх лейб-казак и разбудил Конькова.

– Ваше благородие, доложите атаману. Ён наступает...

Быстро собрался и вышел со штабом Платов. Ночь была пасмурная, ветреная и после теплой постели, казалось, холодная.

Где-то далеко за городом пощелкивали выстрелы, нарушая ночную тишину, то стреляла пехота маршала Даву, начавшего бой с аванпостными казаками.

Обрывки серых туч носились над городом. Солдаты, казаки и офицеры выходили на улицы, и у каждого, как и у Платова, было одно на уме – слава Богу, началось!

## XI

*...26-го июня у самого местечка Кореличи неприятель показался со стороны Новогрудка в трех колоннах кавалерии, но, был встречен стремительным нападением казачьих полков во фланги его, не мог выдержать оно и расстроенный обратился опять к Новогрудку.*

*Рапорт Платова.*

*Военно-Ученый Архив. 1835*

Через два часа после этой тяжелой ночи по армиям читался следующий приказ:

«Приказ нашим армиям.

Из давнего времени приметили мы неприязненные против России поступки французского Императора, но всегда кроткими и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные. Наконец, видя беспрестанное возобновление явных оскорблений, при всем нашем желании сохранить тишину, принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши, но и тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах нашей Империи, не нарушая мира, быв токмо готовыми к обороне. Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать желаемого нами спокойствия. Французский Император нападением на войска наши при Ковне открыл первый войну. Итак, видя, что никакими средствами, непреклонными к миру, не остается нам ничего иного, как призвать на помощь свидетеля и заступника правды, Всемогущего Творца небес, поставив силы наши противу сил неприятельских. Не нужно напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. На зачинающего Бог.

В Вильне. 1 июня 13 дня 1812 г. *Александр*».

Громовое «ура» прокатилось по всему побережью Немана, немецкие генералы спорили и шумели, совещаясь о том, что предпринять и куда двинуть армии. Избрать ли фланговую позицию и запереться в крепости-лагере Дриссе, или смело ударить на врага, или заманить неприятеля в глубь России, втянуть его во все ужасы народной войны и истребить и уничтожить.

Ничего этого не знали казаки. От края и до края сверкали казачьи пики. По одной дорожке бежали партии, по другой тропинке шли патрули, а в лесах и перелесках маячили фланкеры. Но никто и ничто не проникало за эту завесу, и свободно спорили и совещались русские генералы. Сытая и спокойная отступала армия: казаки ее прикрывали. Начиналось для донцов то время славы, когда каждый казак, каждый офицер явились борцами за святую Русь и, не щадя живота, потом и кровью завоевали славу войску Донскому; начиналась для казаков та славная эпоха их жизни, про которую историк пишет: «В годину испытания, славную для России, гибельную для Наполеона и Франции, донские казаки стояли в первых рядах защитников отечества. Подвиги, совершенные ими в отечественную войну, составляют золотую эпоху в истории их и превосходят всю ту честь и славу, какую они приобрели в прежних походах. Описать все действия их было бы трудно, ибо они участвовали во всех сражениях и стычках так, что если представить оные во всей подробности, то надобно было бы написать особую книгу».

И белокурый Акимов, ловкий игрок в «жучка», и Пастухов с Панфиловым, его партнеры, и старик «письменюга» Каргин, и Сипаев, и Луковкин – все распределили свои силы, все проводили ночь на аванпостах, а днем рыскали в партиях, встречались с неприятелем, рассыпали гибкую и тягучую лаву перед фронтом врага, маячили и заманивали его в засады и подводили его под свои донские казацкие пушки. И вся эта нестройная на первый взгляд, дикая орда в виде одиночных всадников на косматых, плохо чищенных маленьких лошадаках одушевлялась одним лицом, жила одним духом, одной волей – вся смотрела, верила, боялась и уважала одного человека: атамана Матвея Ивановича Платова.

И Платов был уже не петербургский полувельможа, днем нежащийся на пуховике, на тройке летающий во дворец и по гостям, гордый своими победами, гордый своим положением. Под кустом, покрытый буркой, спал он в жаркое утро, обедал в полдневный зной, а в четыре часа утра подводили ему серого его коня, и, окруженный свитой, летел он вперед и до утра не слезал с лошади. Летал он на аванпосты, ходил в партии, разговаривал с офицерами и при блеске восходящего солнца, лежа на песке, писал донесения.

Он не описывал в коротких рапортах ни храбрости своих «детушек», не хвастал ни убитыми, ни ранеными.

Храбрость донцов была несомненна, а перечислением потерь не хотелось смущать ему старших начальников. «А об убитых и раненых будем иметь мы домашний счет», – приписывал он иногда в конце, и без вести, без ничего гибли донские казаки, и только дома, на Дону, где велся «домашний счет», знали, кто убит, и плакали там и рыдали казацкие жены и матери.

Одиннадцатого июня французы тронулись из своего стана и переправились через Неман, и ночью раздался по ним первый выстрел, выстрел казачьего ружья. И кавалерия Мюрата, и пехота Даву, грозно наступавшие, всегда и везде видели перед собой казачьи копыта да синие казачьи мундиры. Они видели их поздней ночью при свете бивачных костров, с восходом солнца обнаруживалось их зоркое присутствие, и днем они были. И когда они сменялись, когда отдыхали – одному Богу известно.

Восемь дней прошло без стычек. Русская армия быстро отступала, и Наполеон клином входил в ее центр, разделяя ее на две части. Казаки отступали без боя в суровом молчании. Наконец двадцать первого июня загудела казачья лава, ударили казаки на зарвавшегося вперед польского генерала Зайончковского, у сел Закревщишна и Гудиненты произошел бой – были убиты первые казаки и сотник Котельников.

С этого момента каждый день были драки, каждый день стонала земля от топота коней, гремели выстрелы, гикали казаки...

Коньков по-прежнему оставался при Платове.

Ничто так не залечивает душевные раны, как путешествие, эта вечная смена обстановки, впечатлений и лиц. А когда путешествие совершается на коне, не сводя глаз с начальника, когда из-за каждого куста могут послать пулю и с каждого холмика, шуруша, может вылететь ядро и, описав крутую траекторию, ударить в то место, где стоит группа начальников на разношерстных лошадях, в скромных казачьих мундирах, – тогда оно делает почти чудеса.

Коньков не боялся смерти: он ожидал ее, как радостного гостя, как избавителя от земных страданий.

Пока длилась война, пока властно звучал голос атамана и взмыленный Ахмет носился через поля и кусты, развозя приказания, пока была эта жизнь без отдыха, жизнь чужою волею, чужими мыслями, – Коньков мог жить, а кончится война и что тогда?

Одиночество, душевные муки и мысли о потерянном блаженстве! Но не верилось ему как-то, что Ольга навсегда для него потеряна...

Дивился на Конькова адъютант Лазарев, плотный, солидный мужчина, дивились другие ординарцы, сотники Киреев и Сидоров, дивился хорунжий Коймашников и обожали его урядники: Дебельд, Аркашарин и другие.

Даже сам Платов, такой простой и веселый на войне, нахвалиться не мог лихости и смелости своего ординарца. И прежде был он смел, но теперь стал еще смелее, еще храбрее...

– Любовь, я вам скажу, опасна, но делает иной раз человека отважнее, – говаривал иногда донской атаман, обращаясь к другим ординарцам, и пояснял, как скачет Коньков, исполняя его «порученность».

А лето стояло во всем разгаре. Воздух был напоен ароматом трав, и голубое небо, как опрокинутая чаша, молчаливо глядело на землю, млея на солнечных лучах. Деревья в лесу были так пленительно зелены, стволы берез и дубов так ярко вырисовывались на фоне изумрудной листвы, по полям и лугам показались красивые, пышные цветы, а травы высоко поднялись, и даже покинутые деревни и села выглядели какими-то заколдованными и зачарованными приютами... Тишина летнего дня, тишина, нарушаемая только стрекотаньем кузнечиков, песнями жаворонков, кукованьем кукушек и тем осторожным шорохом, который, словно дыхание земли, точно незаметный рост мириад трав, идет из глубоких недр, – все было так хорошо, так чудно спокойно, что, казалось, вовсе не война возмутила Русь, не война разогнала жителей, а просто все заснуло по мановению жезла волшебницы – все застыло, но не вымерло.

Но взглядишься ближе, пробежишь десятка два верст, и вдруг все изменится. На громадном пространстве трава потоптана, выкошена и съедена. Черные круги костров, правильно расположенные, идут на целые версты, навоз, трава, вытоптанная до черноты земли, до пыли, – обозначают коновязи, обозначают присутствие кавалерии. Местами валяются обрывки материй, забытая трубка, крышка от манерки, сломанный штык, ремешок, бумага – словом, чувствуется здесь недавнее присутствие войск.

Подъедет донец к такому месту, взглянет опытным взором на расположение костров, на протяжение коновязей, посчитает что-то, сообразит, и эти следы уже выразились в его мозгу в цифрах, батальонами и эскадронами; слезет он с лошади, возьмет в руку лошадиный помет, пожмет его и скажет про себя: «Три дня, как ночевали», и опять едет дальше, подымая всякую бумажку, все собирая в своем широчайшем кармане.

Казак этот Какурин – вестовой Конькова. Он третий день рыщет в тылу у неприятеля, хоронится под мостами, залезает в ямы, под крыши и все подбирает, зная, что барин многое разберет.

А темной ночью барин его «Пидра Микулич» сидит при свете лучины, вставленной в ставец, и читает грязные, смятые бумажонки.

И вот разглядывает он письмо с заголовком: «*Mon fils aimable*»<sup>35</sup>, вот читает забытый брульон<sup>36</sup>, делает пометки, где ночевала великая армия, и согласно с донесениями партий составляет доклад атаману.

Случается, попадется бумажка с обращением: «*Ma fiancée bien aimable*»<sup>37</sup>, и вдруг что-то схватит его за сердце, защемит, затоскует оно, помутится все в мозгу его, забудет он счет батальонов, эскадронов и орудий, и чернокудрый, нежный, задумчивый образ встанет перед ним... Задумается хорунжий и долго не может оправиться.

А завтра, бледный, с синяками под глазами от бессонных ночей, придет он к атаману и ясно и кратко доложит о положении неприятельских корпусов.

Дюже умный Коньков был казак.

Лазарев напишет донесение; подмахнет под ним атаман: «Генерал-лейтенант Платоф», непременно с «ф», заберет его дежурный казак и поскачет догонять отступившую армию.

Третью неделю полки отступали. Были схватки, была стрельба, но это было так, между разъездами только. Полки неприятельские близко не показывались.

Не любил Платов так воевать! Его пылкое сердце рвалось вперед, рвалось вширь, и хотелось ему громких побед, хотелось пленных, хотелось орудий, взятых с боя.

Двадцать шестого июня, уже к вечеру, когда казачьи полки подходили к местечку Кореличи, из передового сипаевского полка, бывшего у Новогрудка, прибежал казак с донесением, что неприятель показался в трех колоннах, но что казаки его опрокинули и он снова ушел за Новогрудок.

Солнце садилось и кровавым заревом обливало далекие избы Новогрудка, перелески справа и слева таинственно чернели. Платов послал донесение Багратиону, а сам приказал отойти к селению Мир и собираться к нему.

Шибко забились казачьи сердца.

Наконец-то будет давножданная атака. Наконец будут пленные, а быть может, и маленькая добыча в неприятельских «кошах».

Ночью крайняя избушка селения Мир ярко осветилась. Расторопный казак принес свечи, добытые из платовской повозки, и за большим столом собрались полковники и есаулы войска Донского. Их было немного.

Генерал-майор Кутейников еще вчера ушел для отыскания связи с генерал-майором Дороховым, другие полки были в далеких партиях. При атамане остались только полковник Сипаев, Каргин и Балабин и их сотенные командиры, да и те далеко не все.

Когда все собрались, платовский слуга принес на подносе водки и соленой рыбки, и Платов любезно пригласил своих полковников закусить.

– Господа, водочки и рыбки. Прошу, с ночного похода полезно согреться.

– Спасибо на угощенье, – сказал хрипло Сипаев: он весь день ругался со своими казаками и совсем потерял голос.

– Что же, ваше высокопревосходительство, долго мы отступать будем? – спросил атамана полковник Балабин.

– Пока не будет приказания наступать, – хитро ответил Платов.

– Ну, приказания никогда не дождемся. Нами немец командует и, говорят, изменник... – проворчал кто-то в задних рядах.

– Т-сс, – пригрозил в сторону шепота Платов. – Я вам скажу, что приказание уже получено – задержать неприятеля у местечка Мир. Ну а чтобы задержать – надо атаковать.

---

<sup>35</sup> Мой любезный сын (*фр.*).

<sup>36</sup> Брульон – черновик письма.

<sup>37</sup> Моя любезная невеста (*фр.*).

– Осмелюсь доложить, – хриплым голосом проговорил Сипаев, – неприятеля три полка польских улан графа Турно, и сзади есть пехота и артиллерия.

– Я знаю это, я вам скажу, но кто же может и кто смеет сомневаться в храбрости донского казачества, притом же я полагаю, что местность, по которой мы сегодня проходили, много способствовать будет устройству «вентера»<sup>38</sup>.

Казачьи полковники насторожились – дело шло «всерьез», два полка, да и те сборные, разбросанные, должны были победить три полка прекрасной польской кавалерии.

– Так вот я вам скажу. Пускай есаул Зазерсков со своей сотней станет впереди Мира по дороге к Кореличам. Вы будете наблюдать и заманивать неприятеля ближе к Миру, а сотни Топольскова и Кальжанова пускай скрытно станут вправо и влево от дороги, что над лесочками. Вы, полковник, – обратился Платов к Силаеву, – встанете со мною вместе здесь, у Мира, и как граф Турно увлечется преследованием Зазерскова, мы в две линии дружно ударим на него, а вы, есаул, уже поспешайте скорее по подкрылкам, чтобы расчистить нам место. А Топольсков и Кальжанов не оставят ударить справа и слева. Да, я вам скажу, «вентер» много способствовать будет победам, и с того почин пойдет победе и в нашу кампанию... Казаки колоть будут и, как учил блаженной памяти Александр Васильевич Суворов, жестоко бы слушали, когда французы кричать будут «пардон» или бить «шамад»<sup>39</sup>. Казакам самим в атаке кричать: «Бале зарм, пардон, жете лезарм»<sup>40</sup>, и, сим пользуясь, кавалерию жестоко рубить и на батарее быстро пускаться, что особенно внушить.

– Ваше высокопревосходительство, – мягко и вкрадчиво сказал Каргин, – а не лучше ли будет нам спешиться и, заняв деревню стрелками, встретить неприятеля огнем?

– Выпей лучше водочки, полковник, – сухо ответил Платов.

Уничтоженный Каргин притих. Кто-то сзади довольно громко сказал: «Письменюга».

Потолковали еще немного казачьи полковники и есаулы и начали расходиться.

Один Коньков остался.

– Ну что, Петр Николаевич. Дело разве есть?

– Ваше высокопревосходительство, дозвоьте мне завтра при сотне Зазерскова состоять.

– Лавой помаячить захотелось? Ну изволь. С Богом, я вам скажу, это достойное для казака желание, и я охотно готов служить к его выполнению. Но когда ударит сипаевский полк на француза, то попрошу тогда ко мне. Ты мне нужен будешь.

– Покорно благодарю, ваше высокопревосходительство, – поклонился Коньков.

– Да поберегай себя. Такие казаки, как ты, дороги войску Донскому!

Еще раз поклонился Коньков атаману и вышел из избы.

Теплая, тихая ночь окутала его. Сильно вызвездило. Воздух напоен был ароматом отцветавшей черемухи и зацветавшей липы, пахло мятой, еще какими-то травами. Во дворе под тесовым навесом вповалку спали казаки, накрывшись плащами, рогожами и чем попало.

Лошади, привязанные к телеге без колес, мирно жевали сено, одно долго приноравливалась лечь, подгибала то одну, та другую ногу под себя и наконец, грузно упавши на бок, захрахтела. Соседка ее тяжело вздохнула, будто сказала: «Фу-фу-фу – тяжела служба казачья!» В растворенные ворота видно поле, недалекий лесок и далеко-далеко, у Новогрудка, легкое зарево от костров неприятельских. Посмотрел хорунжий на небо, отыскал он семь звездочек, что «котлом»<sup>41</sup> именуется, провел по краю их взор и остановил глаза свои на одинокой яркой звезде – «сивер» обозначающей. Загляделся и задумался молодой казак, глядя на маленькую звездочку.

<sup>38</sup> В е н т е р – коническая рыболовная сеть. Особый вид засады.

<sup>39</sup> От франц. *с h a m a d e* – сигнал о сдаче.

<sup>40</sup> От франц.: «*Jetez les arms! Baillez les armes!*» – Бросайте оружие! Сдавайте оружие!

<sup>41</sup> Котлом казаки называют созвездие Большой Медведицы.

«В Петербурге я был – над головой мне светила одинокая моя, ясная звездочка – знать, и теперь там стоишь над ясной моей Любушкой, светишь на домик ее, озаряешь ее постельку. Спи, моя радость, спи, светлый мой ангел, спи, моя родная голубка, спи, ясочка моя голубоглазая. Твой казак не спит за тебя. Грудью станет он завтра на твою защиту и заступится за тебя и не допустит врага оскорбить тебя. Завтра, во имя твое, дедовской шашкой своей я положу столько французов, сколько душеньке твоей угодно. Завтра увидят, как храбр твой казак и как умеет сражаться он за свою ненаглядную душеньку! О, моя звездочка ясная, глушь на весь север далекий, глядишь ты на весь Петербург, загляни в маленькую комнатку, где цветут теперь резеда и левкой, и передай моей маленькой Олюшке, что любит, крепко любит ее казак и никогда не поверит, что бы про нее ни говорили».

Расчувствовался, разнежился молодой казак от горячей мольбы, а обратил взор свой на землю, и суровая складка легла между бровями. Подошел он к вороному коню, который узнал его и чуть-чуть заржал навстречу, накинул уздечку, положил седло и стал подтягивать подпруги.

Надувается конь! Не хочется ему затянутым быть, вытягивает он шею и белыми зубами хватает за решетку телеги.

Заседлал коня хорунжий, нацепил амуницию, плащ свой накинул, перекрестился, еще раз взглянул на север, перекрестил воздух в том направлении и выехал за околицу.

## XII

*...Хоть с небольшою, однако ж и не так малою победой на первый раз имею долг с сим Вашего Сиятельства поздравить; благослови Господь далее и более побеждать...*

*Рапорт Платова, 27 июня 1812 г., № 61*

Светало. Холодный ветерок быстро сгонял туман с полей, и беловатой пеленой росы покрыта была прикипшая к земле трава. Восток алел. Солнце уже встало, но за лесом его еще не было видно, и только бесконечная тень, бросаемая лесом, свидетельствовала, что солнце уже встало. Тень быстро бежала. Становилось теплее, птицы громче пели, начинали стрекотать кузнечики. Вправо от мокрой от росы мягкой полевой дороги стоит атаманская сотня. Казаки слезли с лошадей. Кто держит одну-двух за чумбурный ремень, кто сбатовал свою с соседом, у кого конь просто стоит и, согнув слегка переднюю ногу, мирно пощипывает траву. Иные казаки спят крепким утренним сном, иные, собравшись в кучу, зорко глядят перед собой на маленькую деревушку, скрывающуюся в балке.

Перед фронтом, шагах в двадцати, ходят взад и вперед два офицера – командир передовой сотни Зазерсков и ординарец атамана хорунжий Коньков.

– Я вижу, что вы сильно страдаете. И мне жаль вас – вы отличный офицер, и умом вас Бог не обидел. Что за притча такая, думаю, не больны ли вы? Я в Вильне узнал, что причиной тому любовь. Глупое, думаю, дело. Казаку дан конь, дана сабля, дана слава отцов и дедов, а любовь да бабья юбка – недостойное это дело. Ну хорошо, скажем, вышло так, не воздержались, так что с того? Полюбили одну, полюбите и другую – свет-то не клином сошелся. Бабьего племени сколько хочешь – хоть отбавляй, и все одинаковы. Все, пока не замужем, и ласкают, и любят, и голубят, а как замуж – так и рыло воротит. Плеть на них нужна! Вот и все. Теперь вот война зачалась – до бабы ли тут! Вы у меня смотрите: без Георгия завтра – то есть уже даже сегодня – не быть! А про питерскую балетчицу и думать не можете!

– Какую балетчицу? – в изумлении спросил Коньков.

– Какую? Про которую Рогов рассказывал, что опутала вас.

– Так он называл ее балетчицей?

– Ну да. Я почему знаю, кто она такая! На сердце у Конькова стало полегче.

– Глупая сплетня, и больше ничего, – сказал Коньков и вспыхнул весь.

– Дай Бог! Я вам больше верю, чем Рогову Если вы больны, не беда это – пройдет, так просто соскучились по Дону Тихому, тоже не беда. Только бы не любовь! Однако надо посмотреть, что делается у них.

– Позвольте мне с партией поехать.

– Эх вы! Ну, «езжайте» с Богом!

Выбрал Коньков себе казаков, вскочил на Ахмета и поехал за ту границу, где кончалась жизнь и начиналась смерть, где стоял страшный, неведомый «он».

И все казаки чувствовали этот рубеж, все понимали, что вон за той межой, на которой так пышно разросся ивовый куст, начинается что-то новое, неведомое и страшное.

И хотя вчера еще они были там, но сегодня уже здесь не то.

Словно край мира прошел по меже. Один Коньков забыл про войну. У него на душе словно трубили праздник, ему весело было и радостно.

Говорили про балетчицу, а не про Ольгу Клингель?! Ах ты, душа моя, красна девица, – и я подумал на тебя... Это мне Господь послал утешение за мою жаркую молитву вчера... И беспечно и весело шел он на своем Ахмете вперед, забыв, где он и что перед ним.

– Que vive?<sup>42</sup> – раздался испуганный голос впереди, и вслед за тем щелкнул выстрел и с визгом и шорохом пролетела пуля.

Выскочил вперед фланговый урядник и положил ударом сабли в голову французского часового. Но дальше ехать было невысказано.

Последние французские посты быстро снимались; авангардный эскадрон выезжал из Новогрудка, и по легкому, теплему ветерку доносилась польская речь и топот коней.

Желтые пятна на синем общем фоне, флюгера пик указывали, что это была польская конница графа Турно.

Коньков вернулся к Зазерскову и рассказал о случившемся. Послали донесение к Платову.

– Так выезжают? – Коньков кивнул головой.

– Ну, с Богом! По коням! – и новая нотка, суровая какая-то, властная зазвучала в голосе Зазерскова.

Казаки разбирались по лошадям и влезали на них, пока другие еще подтягивали подпруги и готовились к походу.

И у них на лицах тоже есть особенный отпечаток какой-то суровости и необыкновенного внимания к мелочам. Пастухов, никогда не чистивший гнедого своего маштака, вдруг заметил пятнышко на его ноге и усердно оттирал его рукавом. Акимов пробовал скошовку<sup>43</sup> с таким видом, как будто от нее зависел успех боя.

– Готовы? – раздался голос Зазерскова.

– Готовы, готовы! Акимов, поживей!

– Зараз сяду! – послышались голоса.

– Ну, слушай же, братцы! В круг!

Тесно окружили казаки своего командира; задние вытягивали шеи и слушали, стараясь не проронить ни одного слова.

– У Мира, где атаман и откуда мы в ночь отступили, – засада. Там полк Силаева, две сотни полка Каргина, а три наши в конвое у атамана. Влево наша седьмая сотня за леском, вправо – восьмая, во-он у церкви. Мы должны заманить все силы на Мир, не дав им спокойно развернуться. Команда будет одна: строй лаву; один свисток – лава вперед, два – назад, в остальном надеюсь на вас, на вашу казацкую сметку и удаль! Старые, помогай молодым.

---

<sup>42</sup> Кто идет? (фр.)

<sup>43</sup> Скошовка – повод.

– Постараемся, ваше высокоблагородие! – загудели голоса.

– Ну, с Богом! – И по-регулярному, склонившись на левый бок, и другим голосом командовал есаул: – Равнение направо, шагом ма-арш.

Но казаки стояли, пока Зазерсков не крикнул:

– Да иди же, черт те в душу!

Сотня всколыхнулась, и кони, заматавши головами, тронулись, повалив дротики.

Вот прошли и роковой ивовый куст, вот высокая цветущая уже рожь стала бить по ногам, лошади рвались от повода и захватывали в зубы лакомый корм, вот опять цветущий луг, запах мятой травы, ароматный и сладкий запах цветов наполняет воздух. Из-под самых копыт лошади Зазерскова испуганная вылетает перепелка, заяц выскакивает, делает несколько скачков вправо и влево, приостанавливается и, прижав уши, бешено несется вперед. В другое время по адресу косога слышались бы шутки и замечания, но теперь зайчишка улепетнул и никто его «даже не заметил».

Все были серьезны и сосредоточенны, каждый думал свою думу, и меньше всего думали все о предстоящем сражении и о возможности быть раненым или убитым. Все тупо и упорно избегали этой мысли и мысли о родине...

Но вот вдаль показалось облако пыли, длинное, высокое, и в его туманных очертаниях засверкали копыта и сабли.

– Рысью ма-а-ррш!.. Ну, трогай!..

Понагнулись казаки, и раз, раз, раз, чаще и быстрее затоптали кони, и сотня понеслась на передовой эскадрон.

Вот уже ясно видны стали темно-гнедые лошади улан, показались и желтые расцветенные уланки, перья на киверах раздалась и у них команда, и сверкнули на солнце сабли. Казалось, атаманская сотня хотела атаковать неприятеля, по крайней мере, дерзко фыркали лошади и грозно горели на солнце копыта и сабли. Командир авангарда графа Турно, ротмистр Пршепетковский, не понимал одного: как рискует одна сотня кинуться на него, когда сзади него идет три полка. Нет ли резерва где? Но ни его острый взор, ни поиски его зорких фланкеров не могли открыть ничего подозрительного. Всюду было тихо и спокойно, и мирно горел крест на колокольне далекого селения, и тихо было кругом.

Ну, если он хочет! Сумасшедший казак! Изволь!

Пршепетковскому жаль было атаковать бедную сотню. Она ему казалась толпой людей, решившихся на самоубийство, и думалось ему, что нечестно разбивать этих бедных людей. Но долг выше всего, он обернулся назад к трубачу, и резкие звуки сигнала огласили мирные поля, фыркнули кони, иные хрипло, тяжело задышали, и, гремя оружием, полевым галопом пошел эскадрон.

По-прежнему казаки идут рысью навстречу. Какая дерзость! Всего только триста шагов разделяют их, пора перейти в карьер...

– В карьер-рр... Маррш-марш! – обернувшись к эскадрону, хрипло кричит Пршепетковский и вонзает шпоры своему коню, готовый первый налететь на мелкоконную казачью сотню...

Но атаковать некого... Перед Пршепетковским видна далекая пыльная дорога, сереют домики деревни Кореличи видны березки здесь и там, стог сена и брошенная у дороги борона...

А вправо и влево бешено скачут казаки и растягиваются лавой на далекое протяжение. Собираются они по подкрылкам и летят кучками с флангов на улан, несущихся вперед и вперед. Растерялся Пршепетковский. И справа и слева казаки, и спереди и сзади – откуда они взялись? Была одна сотня, а теперь... Вот уже один погрузил свой дротик в бок флангового унтер-офицера Ровинского, вон лейтенант Сакре падает с перерубленной рукой.

– Позвольте, – хочет крикнуть Пршепетковский, – так нельзя атаковать! Это не по правилам! – Но вспоминает он, что это казаки, что у них правил нет, что это дикие люди, «поношение рода человеческого», и панический ужас нападает на него. – Назад, назад! – кричит он. – Повзводно налево кругом...

Но не надо повторять этой команды – уланы сами скачут назад, а казаки преследуют их.

Вот и его настигли. «Как скоро скачут, однако, эти маленькие лошаденки!» – проносится у него в голове, а уже над ухом слышен голос: «Жете лезарм! Бале зарм!» – и острое пики направлено в бок.

Бросил свою саблю Пршепетковский, схватили за повод его лошадь казаки и повели куда-то...

Куда? Сожгут и съедят, пожалуй!

Изумлен и рассержен граф Турно.

Как! Его лучший эскадрон, его лейб-эскадрон бежит перед ничтожной горстью донцов! Наказать их! Два эскадрона живо развертывают фронт, но опять некого атаковать.

– Подлые тусы! – кричит граф Турно по адресу скачущих в разные стороны казаков.

А у казаков своя команда.

– Гавриличи! – кричит громовым голосом Зазерсков. – Увиливай в кусты!

И в молодые зеленыя скрылась атаманская сотня.

– Переловить этих негодяев! – сипло кричит граф, и два полка развернулись и, гремя саблями, звеня цепками и кольцами мундштуков и потрясая землю топотом коней, галопом скачут за казаками.

А казаки мчатся все дальше и дальше; прошли зеленыя, пролетели через Кореличи, вышли на ровное поле, и вдруг разомкнулась казачья лава, и направо и налево перед самым фронтом улан несутся казаки.

Не успел один; ширнул его пикой улан, хрустнули ребра, и с помутившимся взором упал донец под ноги передового эскадрона.

А из-за развернувшейся лавы видны тесные ряды казаков, краснеют поваленные пики, и с бешеным гиком мчатся казачьи полки на свежих лошадях навстречу утомленным уланам.

Отчаянное гиканье, топот массы коней поражают уланскую бригаду, и она сдает ход, идет несмело, но еще силы на ее стороне, но и справа и слева слышно уже победное «ура!», и, как васильки по полю, горят голубые шлыки атаманцев, и наскакивают они на фланги!

Поразительно быстр кавалерийский бой! Секунда – и все поле покрыто скачущими по одному направлению всадниками. Уланы бегут, казаки преследуют их... И только жалобно ржущие лошади со сломанными ногами, там и сям в неестественных позах лежащие казаки и уланы, лошади без седоков, скачущие в бой на привычных местах, доказывают, что атака состоялась и была кровопролитна.

Впереди всех в голубом чекмене, с серебром шитым воротником, с толстыми витыми жгутами на плечах, с целой цепью орденов, с бриллиантами усыпанной саблей в ножнах и атаманской булавой в правой руке, на сером коне, с серебряным набором на нагруднике и пахвах (подхвостнике), с серебряной оковкой на тебеньках, скакал Платов, окруженный своей свитой.

Вдохновляло, удешащало силы казаков его присутствие. Шибче бились сердца, сильнее рубили руки!

Напрасно до хрипоты кричали донцы «жете лезарм» и «бале зарм» – уланы не хотели сдаваться, и начиналась опять стычка: пика вонзалась в ногу, в бедро или в живот, и с пеной у рта, с бессильной злобой во взоре падал улан и оставался в плену.

И всюду, где проносился серый конь и виднелся голубой генеральский мундир, падали уланы, убитые и раненые.

Платов был гением побед, гением казачьей хитрости, это был предмет обожания казаков!

В его славном присутствии забыл свою Олю Коньков, забыл про любовь и счастье и, выхватив саблю, что от деда досталась ему и не раз уже рубила врага, и всадив шпоры Ахмету, вынесся вперед командира и наметил своей целью уланского офицера.

Красив и статен был улан.

Длинные усы его развевались по ветру, а бородка была подстрижена клином. Уланка с султаном сидела на нем особенно лихо, а кровный конь скакал так плавно.

Налетел на него с левой стороны Коньков, замахнулся саблей и тяжело ударил его в грудь.

Брызнула кровь, побелело лицо, и со стоном свалился улан на землю.

– О, ma Lucie bien amee!<sup>44</sup> – простонал он, и едкой болью отозвались эти слова в сердце Конькова.

Потускнел для него день, солнце не так ярко светило, и ничего веселого не было в бешеной скачке за бегущим врагом.

Теперь в Платове не было для него прежнего обаяния.

«О, ma Lucie bien atee!» – задушевная, отчаянная мольба к любимой женщине, к прекрасной француженке, к невесте, быть может, звучала в ушах казака, и виделось ему посившее лицо красивого уланского офицера и его одинокий роскошный конь, которого ловили казаки по полю...

И не радовали его теперь ласковые слова Платова, не радовало его и поздравление с орденом Святой Анны.

Встала перед ним была забытая Ольга Клингель, заглянула ему в сердце, и куда девалась суровость, желание убить, поразить неприятеля!

А атака неслась дальше и дальше. Сотни сипаевского полка разомкнулись, рассыпались и, разбившись на взводы, пятидесятки и звенья, летели за своими хорунжими, пятидесятниками и урядниками. Одностаничники и односумы, вглядываясь друг в друга, все поглядывали на своего старшего. А начальники смотрели на сотенных, а сотенные – на полковых, а полковые – на атамана. И как рой за маткой, послушный и гибкий, летел казачий строй пятнадцать верст, преследуя неприятеля.

На первый взгляд беспорядок, орда, дикая, не признающая дисциплины, а вглядишься ближе – исполнение воли и предназначений одного начальника, одного командира.

Но устали казачьи кони. Боялся зарваться далеко Платов, боялся попасть сам в засаду, в которую так удачно завлек графа Турно. Ведь там, впереди, была пехота Даву, кавалерия Мюрата, там двигались люди на завоевание неведомой страны, двигались, увлеченные одним человеком, одним гением, который обаянием полководца покори́л все сердца.

Опасно было горсти казаков трогать эту громадную армию – и Платов послал ординарца с приказанием прекратить преследование и возвратиться к Миру.

Уже вечерело, когда казачьи полки стали подходить к Миру. Почти каждый казак вел пленного. Двести сорок восемь человек улан, два штаб-офицера, четыре обер-офицера и двадцать один сержант были добычей казаков. А сколько убитых и тяжело раненных лежало там, в поле, на которое спускался вечерний сумрак и белесоватыми клубами стлался туман.

Казаки расседлали коней, раненые перевязывали себе раны, но все шутили, острили и смеялись, вспоминая отдельные эпизоды миновавшего сражения.

Смеялся даже Панкратьев, урядник, которому начисто оторвало левую руку, по самое плечо, которое обрабатывал теперь полковой костоправ.

– Ну, братцы, – говорил он, лежа на носилках, – на войне не без урону – по крайности, дома свидетельство будет, что воевал! А ему, нехристю, чтобы пусто было.

– Да ты, Микита, не сердись. Он же пожалел, не захотел вызволять из веры православной: левую руку снес, а правую оставил – дескать, перекрестись за упокой моей души!

---

<sup>44</sup> О, моя любимая Люси! (фр.)

– Ну да и офицеры же наши молодчики. Видали Пидру Микулича?! Как хватил офицера ихнего – и не пискнул.  
– Его на это взять. Молод, а хват.  
– Сказывали, орден ему выйдет.  
– Пора.  
– Ну, пора! Давно ли рядовым казаком ездил.  
– Нет, братцы, атаман-от наш, ах, атаман, атаман! – раздается молодой, полный восхищения голос, и звонкий тенор запеваает:

Он летает пред войсками,  
На сером своем коню-ю... —

но дальше импровизация не идет, и песня смолкает.

И веселы все, радостны на казачьем биваке среди полей, по-над лесом, на песчаной осыпи. Веселы кони казачьи, с которых сняли тяжелые седла, ослабили подпруги и стреноженных пустили в молодые овсяные поля, где бродят они, пощипывая нежные, мягкие зерна. Веселы казаки, собравшись вокруг котлов со щами, которые готовятся кашеварами, веселы мужички, прибежавшие из лесов; они принесли хлеба и поздравляют с победой; веселы офицеры, мечтающие о крестах и орденах, весел и атаман Платов.

Лежа на песке, пишет он Багратиону поздравление.

«Хоть с небольшою, однако же и не так малою, потому что еще не кончилось преследование и, быть может, и весь шести полков авангард под командой генерала Турно-Прадзиминского погибнет; пленных много, за скоростью не успел перечесть и донести, есть штаб-офицеры и обер-офицеры, с Меньшиковым (адъютант Платова) донесу, а на первый раз имею долг и с сим Вашего Сиятельства поздравить; благослови Господи более и более побеждать. Вот венгер много способствовал, оттого и начал пошел...»

У нас, благодаря Богу, урон до сего часа мал, избавь Всевышний от того наперед, потому что перестрелки с неприятелем не вели, а бросились дружно в дротики и тем скоро опрокинули, не дав им поддержать стрельбой.

Я Вашему Сиятельству описать всего не могу. Устал и на песке лежу пишу; донесу, сообщаясь за сим, но уверяю, будьте о моем корпусе спокойны, у нас урон не велик...»

Рад и Меньшиков, что повезет рапорты в главную квартиру: не останется он там без награды...

Один Коньков не весел и не доволен. Не радуется, не веселит его дивный конь золотой масти, что достался ему от врага, не веселят поздравления товарищей, платовское рукопожатие и поцелуй. Тщетно ищет он между пленными своего раненого – его нет...

Нацепил на себя саблю Коньков, осмотрел пистолеты, сел на коня уланского, – он свежее Ахмета выглядел, и один, без вестового, выехал в поле.

Стояла теплая июньская ночь. Тихо. И в этой тиши страшными звуками изредка раздается стон умирающего, проклятие или мольба. Какие-то звери, не то собаки, не то волки, ворча, отходят при приближении всадника.

Коньков хорошо помнит «то место». Да и конь, видно, ждет хозяина. Вот за этой межинкой, левее куста. У куста Платов кричал, а это было после...

Вот он... Насторожил свои чуткие уши породистый конь и испуганно захрапел. Соскочил с него хорунжий, нагнулся к улану, и крик радости вырвался из его груди.

Раненый еще дышал. Казак быстро достал флягу с водой и поднес к губам улана. Раненый жадно выпил...

– Mercі... О, моя бедная Люси!.. Как-то тебе... – твердил он в забытьи, по-французски. – Шамбрэ... О, моя Франция, мое дорогое отечество?... – Он взглянул и узнал свою лошадь... –

Занетто, мой добрый Занетто... Как она просила... выручить меня... Ласкала, целовала... О, мой добрый Занетто...

Вода освежила раненого. Силы, сама жизнь, казалось, возвращались.

Он приподнялся на локте и увидел казака.

– Казак!.. – с ужасом воскликнул он... – Да, это тот... Тот самый!.. Люси моя, Люси!.. Это он... он... – И раненый упал опять на траву и тяжело застонал.

– Mon lieutenant, – проговорил Коньков, – dites moi votre nom. Je le dirai, je l'écrirai à votre femme<sup>45</sup>.

Улан молчал. Коньков в тревоге прислушался.

Ни звука, ни хрипа...

Коньков нагнулся ближе: лейтенант не дышал.

С ощущением ужаса сел он опять на лошадь улана и поскакал к дальнему биваку.

Страх скоро прошел... И, странное дело, его больше не мучила совесть, и на душе стало легче, после того как видел он смерть своего врага... Точно он исполнил какой-то тяжелый долг, точно гора с плеч свалилась.

Подъехав к биваку, он разыскал Какурина и передал ему лошадь.

– Возьми Занетто и береги его больше глаза, – приказал он.

– Чего извольте? – спросил казак, не разобрав имени коня.

– Береги Занетто... Эту лошадь.

– Слушаю, – хмуро отвечал казак.

«Ну и его благородие, – думал Какурин. – Ну, вороной Ахмет это ладное имя – турецкое, скажем, но лошади приличное, а то, на-ко, «Заметьте» назвали... Что же это за имя?! Я бы его ловчей наименовал – ну, «Улан», а то «Мир» а то и самим «Туркой» – было бы важно... А то «Заметьте». Совсем не ладно!»

И долго еще философствовал по этому поводу вестовой Какурин, а его благородие спал под копной крепким сном, сном здоровой молодости и крепкой силы...

### XIII

*Больше сея любви никто же имеет, да кто душу свою положит  
за други своя.*

*Ев. от Иоанна 15, 13*

И пошли с той минуты каждый день бои и сражения в авангарде Платова. Двадцать шестого июня дрались у Кореличей. Двадцать седьмого июня граф Турна, подкрепленный многими кавалерийскими полками, атаковал Платова у Мира, но к Платову подошли регулярные полки генерал-адъютанта князя Васильчикова, и Турна опять был отброшен. Казака не допустили идти на авангард великой армии, и, как бывает при прекращении движения, хвосты напирали, и французская армия собиралась в одну массу. Тем временем и русские армии спешили соединиться вместе. Если бы не несогласие полководцев и не вражда их друг к другу, они бы давно соединились – но Барклай стоял за отступление, Багратион жаждал боя, побед, указывал на успехи казаков и не спешил идти под команду Барклая.

А чтобы неприятель не мог напасть и разбить русские армии порознь, были казаки с их атаманом Платовым, и за их спиной можно было спорить и ссориться сколько угодно. Барклаю было неприятно, что победа у Кореличей и Мира двадцать шестого и двадцать седьмого июня, у Романова девятого июля была в корпусе его соперника, и он писал к Платову, требуя его соединения с 1-й армией, в которую он первоначально, еще до начала кампании, был назначен.

<sup>45</sup> Мой лейтенант, скажите мне ваше имя. Я сообщу об этом, я напишу об этом вашей жене (фр.).

Двенадцатого июля Платов не без удовольствия и тайной радости слушал, как звучно читал ему Коньков письмо Барклаево. «От быстроты соединения вашего зависит спокойствие сердца России и наступательные на врага действия».

А через два дня полученное от военного министра письмо было еще лестнее для донского атамана.

«Я собрал войска свои, – писал Барклай-де-Толли, – на сегодняшний день в крепкой позиции у Витебска, где я с помощью Всевышнего приму неприятельскую атаку и дам генеральное сражение.

В армии моей, однако же, недостает храброго вашего войска; я с нетерпением ожидаю соединения оногo со мною, отчего единственно ныне зависит совершенное поражение и истребление неприятеля, который намерен, по направлению из Борисова, Шалочина и Орши, с частью своих сил ворваться в Смоленск, посему настоятельнейше просил я князя Багратиона действовать на Оршу, а ваше высокопревосходительство именем армии и отечества прошу идти как можно скорее на соединение с моими войсками. Я надеюсь, что ваше высокопревосходительство удовлетворите нетерпению, с коим вас ожидаю, ибо вы и войска ваши никогда не отказывали, сколько мне известно, случаем к победам и поражению врагов».

Прочел это письмо атаман, прочел раз, другой, потом собрал вокруг себя полковников своих и прочел им лестный для войска Донского отзыв военного министра.

– Я бы три раза мог соединиться с Первой армией, – сказал атаман, – хотя бы даже и с боем. Первый раз чрез Вилейку, другой раз чрез Минск и третий раз от Бобруйска мог пройти чрез Могилев, Шклов и Оршу, когда еще неприятель не занимал сих мест, но мне вначале от Гродно еще велено действовать во фланг, что я исполнял от двенадцатого июня по двадцать третье число, и, я вам скажу, не довольно во фланг, другие части мои были и в тылу, когда маршал Даву находился при Кишнево; а потом я получил повеление непосредственно состоять под командой князя Багратиона. Тогда я, по повелению его, прикрывал Вторую армию от Николаева, чрез Мир, Несвиж, Слуцк и Глусск до Бобруйска, ежедневно, если не формальной битвой, то перепалкой, сохранил все обозы, а армия, я вам скажу, спокойно делала одни форсированные переходы до Бобруйска. Тут я получил от Михаила Богдановича (Барклай-де-Толли) повеление следовать непременно к Первой армии, о чем было предписано и князю Багратиону. Вы помните, он меня, я вам скажу, отпустил весьма неохотно, оставив у себя девять полков донских и один бугский, хотя сказано ему было только восемь оставить. Я не оспаривал, я вам скажу, о двух остальных полках и пошел поспешно к старому Быхову, минуя в ночь армию, идущую по пути к Могилеву... Вы помните, атаманы-молодцы, как нагнал меня на почтовой бричке князь Багратион у самого Старого Быхова и объявил мне, что будет иметь генеральное сражение с армией Даву при Могилеве, и я должен был остаться на два дня, ибо-де сих резонов за отдаленностию главному начальству неизвестно было; говорил он тогда, что он меня оправдает пред начальством и даст на то мне повеление. Тогда я и сам, рассудя, принял в резон и остался. Вместо того, вы, господа, это помните, генерального дела не было, а была одиннадцатого числа битва, и довольно порядочная. С обеих сторон если не десять, то девять тысяч убитыми и ранеными пало, что мне точно известно. Нашего урона был очевидец, я вам скажу, а об уроне неприятельском узнал на другой день от взятого пред Могилевом в плен офицера. И теперь мы все перед неприятелем, и я вам скажу, что, быть может, нам прибыльней скорее соединиться с Первой армией, ибо, как она находится позади, нам и дела меньше будет. Как думаете, господа?

Зашумели, заспорили молчавшие доселе полковники. Громким гулом наполнилась изба.

– Где больше боя, там больше славы! – сказал полковник Балабин, вставая пред атаманом.

– Верно сказано, – молвил генерал Иловайский.

– Дратся-то лучше, чем так дуром отступать, – проговорил, расправляя усы, полковник Сипаев.

– Ваше высокопревосходительство, – кричал «письменюга» Каргин, – дозвольте слово молвить. Вот с шестнадцатого июня и до сей поры, около месяца уже будет, без роздыха мы всякий день форсированные марши делали, лошади в полках притупели, и много раненых и усталых брошено – дозвольте отдохнуть хоть маленько.

– О, отдохнуть бы не мешало, – поддержал Каргина Луковкин.

– Хоть бы денька два вздохнуть, не седлать бы!

Балабин, Иловайский и те стояли за то, что отдых будет необходим.

Долго шумели полковники, а Платов молчал и задумчиво глядел в оконце, где билась и жужжала большая муха.

Наконец смолкли полковники и, смотря на атамана, ждали его решающего слова. А он все молчал и смотрел на муху, что тревожно билась в стекло.

– Петр Николаевич, – наконец сказал он своему ординарцу, – выпусти, голубчик, ее на волю.

Коньков бросился к окну. Полковники с недоумением переглянулись.

## XIV

*...Артиллерия и кавалерия нуждались в лошадях, продовольствие стеснялось – слухи не благоприятствовали; строптивые указывали на казаков, обладавших множеством завлажденных в добычу лошадей. В настоящем случае Михаилу Андреевичу Милорадовичу поручен был арьергард, а Матвей Иванович устранен от команды. Маялся он и горевал отчаянно во дни перелома изнеможенного уже неприятеля, владевшего Москвой в головнях, но еще страшного...*

*Письмо Кирсанова к Михайловскому-Данилевскому, 24 ноября 1836 г.  
Военно-Ученый Архив. Дело № 1835*

Мелкий дождь моросит как сквозь сито. Скошенные луга, сжатые нивы размокли, сделалось скользко и грязно. Бурливо бежит неширокая речка, плеснет на повороте о камень, застынет в лимане, покрытом крупными листьями кувшинок, и опять несется вперед, холодная, темная. Мрачными силуэтами выделяются леса и деревни. Ночь неприятная и сырая. В громадном стане, что раскинулся на много верст, тихий шорох, у чуть тлеющих костров разговор – никто не ложится. Ожидание чего-то таинственного, торжественного видно на всех лицах; все готовятся к необычайному мировому событию. Солдаты на холоду и на дожде переодеваются в чистые рубахи, осматривают ружья и штыки. Артиллеристы хлопочут около пушек – и все упорно ищут дела, чтобы скорее прошла эта трудная ночь ожидания.

Враг близок. Его бивуачные огни совсем надвинулись на наши, и там тоже не спят, тоже ожидают чего-то. По крайней мере, движутся огни, раздаются мерные крики. Все, все стянулось к Бородину, чтобы здесь открыть карты, чтобы в честном бою решить свою участь. Одни завтра будут драться за родину, за святую Русь, за Москву, за поруганные храмы, за потоптанные нивы и разоренные деревни, другие будут драться из-за награды за тяжелые труды во время похода.

Но то будет завтра, а сегодня, в дождливую, холодную ночь, двадцать пятого августа, в стане как в русском, так и во французском идут приготовления. Одни молятся и прощаются, делают последние распоряжения, другие пьянствуют и ликут, заранее торжествуя победу.

Но не все одинаково готовится к бою. Не все на местах. Вот два всадника подъехали к речке, вот спустились они по обрывистому берегу, вот, дав шпоры коням, вошли в темные, холодные волны. Вот они уже на другом берегу и бегут рысью, минуя деревню, минуя стан кавалерии.

– Кто идет? – раздался суровый оклик.

– Свои.

– А, это вы, ваше благородие!

А его благородие уже далеко за цепью казачьей и пошел по зеленым. Мокрые листья бьют по ногам, иногда задевают за лицо, и холодные струйки бегут за воротник.

– Ваше благородие, не ездите туда, вот там их часовой.

Молчание. Только лошадь осторожнее ступает да всадник как-то весь вытянулся и обратился во внимание.

– Пидра Микулич! – слышится сзади робкий шепот. – Вот вам крест, мы уже у неприятеля, вернемтесь.

Молчание. Еще внимательнее стал Коньков.

Вот на горке вправо стоит эскадрон. Неужели один? Да, один. Вот конец их цепи, крайка бивуака. Это пехота, наверное! Ружья составлены в козлы, и темными рядами видны спящие люди. Вот и обоз. Фуры, двуколки, провиантские повозки и крытые телеги со всяким скарбом обрзовали запутанный лабиринт.

Лошадь ступила в лужу, и раздался тихий плеск. Маленькая серенькая лошадка, косматая и лохматая, в шлее и седелке, привязанная к борту телеги, насторожилась и тихо заржала, словно предупреждая своих.

– Qui vive? – раздался несмелый оклик.

– Mais soyez tranquilles. Si vous ne voyez pas – Beutenant d'Abbrez...<sup>46</sup>

Снова наступила полная тишина. Только Какурин волнуется.

«Ну, служи таким сумасшедшим господам, – думает он. – Ведь сидят же другие дома! Одного его понесла нелегкая путаться в неприятельских кошах!» – «Так не ездил бы, – говорит внутри его чей-то голос». – «Эка, сказал тоже, не ездил бы!.. Так я его, Пидру Микулича, и покину одного, ну, сохрани Бог, случится что! Кто тогда вызволять-то станет! Нет, стали служить вместе, так уж и будем А каторга – служба! Хуже собачьей. Мокни, да дрогни, да трясись так всю ночь. Вчера не спали, сегодня не спим, да и завтра не будем спать – это верно. Да вот без отца-то, без матери, без никого – сейчас и храбрости больше, жизни, значит, не жаль!»

Все видел, все высмотрел Коньков и, довольный, возвращался назад, к бивуаку за рекой Калочей. Будет чем утешить старика, будет чем порадовать.

– А его бедного обидел черт одноглазый. – Нелестное прозвище относилось к Кутузову. – Мы ли не страдали, мы ли не терпели, полагая за них свою душу, – нет, все мало! Хотели, видно, и победы нести на наших плечах, а самим награды получать. Бедный атаман пять дней лихорадкой промучился, и теперь только и жив, что горчичной настойкой.

Нежная жалость наполняет сердце Конькова. Петр Николаевич не злой человек, хотя много он народу перерубил да перепортил. Это не беда! На то ведь война, а так он что же? Он всех любит, добрый он.

Так думалось хорунжему Конькову, когда мелкой рысью подъезжал он к своему бивуаку. Вот и Калоча, вот роща, а здесь и стан казачий.

– Где атаман?

– А вон они, под дубочком, в палатке.

Коньков слез с лошади, отдал ее вестовому и вошел в палатку. Платов сидел один, в своем беличьем синем халате и задумчиво смотрел на разложенную карту. В палатке было холодно и сыро, полотно намокло и нагнулось, свечка тускло горела. И жалкий вид был у постаревшего, за несколько дней болезни осунувшегося донского атамана.

С тех пор как Платов впал в немилость, а это началось с семнадцатого августа, с момента приезда Кутузова в Царево Займище, полковники стали группироваться вокруг генерала Ило-

<sup>46</sup> Все спокойно. Разве вы не видите – лейтенант д'Аббрэ... (фр.)

вайского и генерала Орлова, вероятных кандидатов на атаманское место, и Платов стал одинок. Даже адъютант его Лазарев, ординарцы и те стали как будто невнимательнее и в свободное время куда-то исчезали. Один только Коньков оставался неизменным собеседником атамана. Он еще больше полюбил Матвея Ивановича в этот начальный период немилости; ему было жаль старика, и он все готов был сделать, чтобы только утешить его.

– Что, дорогой, скажешь? Где пропал эту ночь? – ласково обратился к нему Платов.

– Был на позиции неприятеля, ваше высокопревосходительство.

– Как? – переспросил атаман, думая, что он не расслышал.

Коньков подробно рассказал про поездку: Калоча проходима вброд. На левом фланге у неприятеля всего один эскадрон. Обозы без прикрытия, стоят в беспорядке, а не вагенбургом. Нападение возможно и удобно.

Платов внимательно слушает, смотрит, как тонкие пальцы ординарца водят по карте, и улыбка удовольствия покрывает его лицо.

– Ну, спасибо, дружок, большое спасибо! Таков ординарец, я вам скажу, и должен быть. Ты многого достоин, да наградить-то тебя не имею я власти! Спасибо, что не покинул меня, не так, как другие, – с горечью добавил Платов.

– Вас покинуть, ваше высокопревосходительство! Да что я изверг, что ли? Мохамед подлый?

– Ну, спасибо, дружок. Ляг здесь, на моей постели, я все равно ложиться не буду; ляг, отдохни. Да на, выпей-ка горчичного.

И старый атаман внимательно укладывал ординарца на постель, и, когда Коньков, трое суток не смыкавший глаз, заснул, Платов бережно укутал его одеялом.

Светало. Дождь перестал. Обрывки серых туч быстро неслись по небу, и восток алел; в одних армиях было движение. Солдаты, после тяжелой ночной дремоты на сырой земле, потягивались и разминались; утренний холодок пробирал их; лошади встряхивались и беспокойно ржали, ожидая обычной задачи овса, денщики вздували самовары, а господа офицеры надевали мундиры.

На крайнем правом фланге, у самой Калочи, расположился кавалерийский корпус Уварова, еще левее стали казаки. Чуть свет лошади были поседланы, полки вытянулись во взводные колонны, но еще не сажались. Люди собрались между взводами и молчали, – у казаков еще был разговор. Они как-то хладнокровнее относились к сражению. «Москва» для них не имела того священного значения, что заставляло бы их особенно трепетать за нее, особенно думать о битве под первопрестольной. А поговорить им было о чем. Первый раз после Гродно они сошлись с армией, которую защищали больше двух месяцев. Опять увидели они белые штаны и зеленые мундиры, услышали русский говор и немецкие команды. Обычаи, порядки, сигналы, которых тогда у казаков не было, – все это интересовало и возбуждало их внимание. К тому же Бог весть кто пустил слух, что будет поиск в тыл, что атаман позволит грабить и можно будет поправить свои обстоятельства.

А «обстоятельства» пора поправить! Даже на офицерах мундиры рваные, лошади подбились, патронов немного остается... И рисуются в мечтах у казаков тяжело нагруженные серебром, золотом и оружием повозки, и задумчиво смотрят они на лес, за которым их ожидает добыча.

Солнце поднималось выше, лучи становились ярче, в воздухе – теплее.

– Бум! – одиноко ударил выстрел на французской батарее; молочно-белый клуб дыма медленно выкатился, озолотился сверху солнечными лучами и медленно растаял. Было почти шесть часов утра.

– Бум! – сейчас же ответили с готовностью у русских, и канонада началась.

Перекрестились солдаты, и в сознании каждого мелькнула одна мысль: «Началось, Господи благослови!»

Принц Гессенский поехал к Кутузову за разрешением сделать поиск в тыл. Две атаманские сотни, с полковником Балабиным, побежали на разведку и для развлечения французской уланской заставы.

Потянулись долгие, скучные часы. Напряженно всматривались казаки в ту сторону, откуда должен был появиться Гессенский, и страх отказа и надежда на разрешение были на их лицах.

А слева уже кипел пехотный бой. Вдруг сразу вылетали стайки дымков и раздавался треск залпа, потом такая же стайка дальше и опять треск, покрываемый гулом орудий.

Все были заняты, все были сосредоточены. Одни стреляли, другие наводили, третьи заряжали, и ни о чем больше не думали, как о своем маленьком деле. Круг мировоззрений каждого вдруг сузился до чрезвычайности, весь мир был позабыт. Наполеон, Бородино не имели ничего общего с людьми, а было: друг – оружие, патрон – голубчик, было дело скусывать пулю, насыпать порох... Родненькой шомпол забивал пулю, а на кремь насыпался порох. И кремь, и курок стали словно одушевленные большие предметы, а самому хотелось сделаться узким и тонким, как сабля, чтобы пули проносились мимо.

«А что рядом убили Иванова – не беда, оно даже и не заметно, а ловко, что не по мне хватило», – вот что было на сердце у каждого, вот что думалось каждому в эти тяжелые минуты Бородинского боя.

Бой быстро разгорался. С развернутыми знаменами, с громом музыки шли полки вперед, таяли от ружейного огня и ядер, дружно кидались в штыки, отбивались и снова шли... Время летело незаметно в центре позиции, где распоряжался сонный Кутузов, где были построены фланги и батареи. Казаки с тревогой прислушивались к шуму боя и все ждали позволения.

И вдруг радостная весть разнеслась по бивуаку.

– Позволено! – побежали полковники к своим полкам, раздалась команда: «Садись», и сотни казаков двинулись через Калочу...

В тылу французской армии действительно было неустроено. 86-й пехотный линейный полк отдыхал здесь, составив ружья, фуражки, лакеи и денщики в серых блузах играли беспечно под повозками в карты, другие чистили платье, повар какого-то маршала в вырытой в земле кухне готовил обед, иные спали, завернувшись в шинели, иные задумчиво смотрели на лабиринт повозок, на бледное русское небо, на леса и кусты, на мокрую землю. Грохот орудий и трескотня ружей тут были менее слышны, а потому и бой не так чувствовался. Фланг охранял уланский эскадрон, которого с утра развлекала лава атаманского полка. Сначала она беспокоила его своими эволюциями, своим протяжением, но потом к ней присмотрелись и не обращали больше внимания. Солнце высоко поднялось, от мокрых мундиров и шинелей шел легкий пар, и приятная теплота клонила ко сну.

Было двенадцать часов дня, когда лава атаманцев вдруг широко раздалась, и из-за густых зеленей стали высыпаться сотни одна за другой – и сколько их! – без числа. Молча, как привидения, выносились одни из кустов и деревьев и скакали вперед без криков и шума. Уланы бросились было навстречу, послали донесения, но живо были перерублены и переколоты, и сотня трупов доказала, что они свято исполнили свой долг.

Линейцы начали строить каре, даже дали залп, но не могли задержать кавалерийских масс. Фуражки, денщики и лакеи поспешно кидались на лошадей и скакали к армии, разнося по ней страшные слова: «обойдены» и «казаки». Дорвались голодные, обтрепанные казаки до давно жданной добычи, пососкакивали с лошадей и буквально зарылись в тяжелые фуры с амуницией и одеждой.

Все годилось казаку. Риза с образа вьучилась рядом с перламутровой шкатулкой, и все прикрывалось стеганым одеялом и штиблетами: на шпагу клался тяжелый вальтрап, золотом шитый, а сверху пестрая шаль...

Остановить грабеж было невозможно, офицеры и Платов это понимали. Выслав атаманцев и еще кое-какие твердые полки на стражу, они хладнокровно ожидали, когда страсти поулягутся и пройдет первая жажда добычи. Корпус Уварова дебютировал из лесу, и стройные регулярные эскадроны галопом шли дальше в тыл, навстречу легкой кавалерийской бригаде Орнано.

С изумлением и презрением смотрели офицеры лейб-драгунского, лейб-гусарского, лейб-уланского и нежинского полков на вывернутые повозки, разбитые сундуки.

– Безобразие! Орда, а не солдаты! Никакой дисциплины!.. Один беспорядок – никакой пользы от них!

И продолжительное спокойствие за казачьими спинами с одиннадцатого июня по двадцать шестое августа забывалось за минуту старинной страсти к грабежу, к добыче...

Чтобы отвратить солдат от казачьего разгула, слышна в рядах команда: «На четыре повода, равнение направо – галопом... И чище глаз... равне-ение!»

Плавно идет галопом корпус, и завистливо смотрят глаза солдат на гуляющих казаков.

Но время кончить. Коньков на Ахмете летает карьером среди повозок, передавая приказание – по коням! Преследовать французов за лес.

Живо собираются казаки в сотни и уже скачут сквозь густые зелена навстречу дружным залпам линейного полка. А в то время как Платов и Уваров хозяйничали в тылу, французы готовили последний удар.

Начальник артиллерии Сорбье усилил огонь центра тридцатью шестью орудиями гвардейской артиллерии и сорока девятью конными орудиями корпусов Латура, Мобура и Нансути. Эти громадные батареи стали громить войска Остермана и принца Виртембергского, находившиеся в центре, а сзади готовился молот, который должен был ударить по слабому центру русской армии и разбить ее на две части – там в боевые колонны строилась Наполеонова гвардия.

Великий полководец опять овладевал боем, и насморк и головная боль стихали; он чувствовал, что залог победы: «Быть в решительном пункте, в решительный момент сильнее неприятеля» – скоро будет в его руках. Обдуманно отдавались приказания, и уже виделась победоносная российская армия разбитая, как некогда под Аустерлицем и Фридландом, – но там могли на немцев сослаться, а тут немцев не было...

Но были казаки! Казаки со своим Платовым и гвардейская легкая кавалерия с Уваровым выручили всю армию. Из корпуса вице-короля к Наполеону стали являться ординарцы, адъютанты и курьеры с донесениями, что тьмы казаков и гусар налетели на обоз, смяли бригаду Орнано, часть войска вице-короля и вот-вот обрушатся с тылу на армию, и тогда что будет! Это роковое известие непостижимым образом распространилось по войскам, и с тревогой оглядывались солдаты и офицеры назад, ожидая ужасной атаки с тылу.

Наполеон сомневался, но его уверяли, и он бросил свое место в самый решительный момент боя и поскакал на левый фланг.

Бегущие солдаты и прислуга, несущиеся без толку повозки показали Наполеону, что беспорядок велик и надо его прекратить. Пришлось отвлечь свое внимание от центра – дивизия Порэ и Вислянский легион Кланареда беглым шагом устремились на казаков.

Удобный момент пропал. За эти два часа суеты и отвлеченного внимания делами в тылу войска центр усилился войсками правого фланга и резерва, и промежуток, образовавшийся было между батареей Раевского и Семеновским – ахиллесова пята нашей позиции – был занят.

Наполеону оставалось одно: рискнуть своей гвардией и доконать утомленного врага. Но на просьбы маршалов об резерве, на уверения в победе в случае поддержки Наполеон благо-разумно ответил:

«Je ne ferai pas demolir ma garde. A huit cents lieues de Prance, on ne risque pas sa derniere reserve»<sup>47</sup> – и Наполеон прекратил атаку.

Кутузов тоже мог послать всю армию и выиграть сражение, но ему надо было выбирать одно из двух: Москву или армию – и он избрал армию.

К вечеру бой постепенно стих: солдаты заночевали на позиции, уверенные, что завтра начнется новый бой.

Казачи вернулись на старый бивуак. С четырех часов утра и до семи вечера они были на ногах, большинство верхом, много скакали, много прошли и мало ели. Лица были пасмурные, недовольные: от поиска в обозы ожидали больше.

Платов, которому опять нездоровилось, слез с коня и, надевши свой халат, продиктовал рапорт о Бородине Лазареву и собирался лечь спать, как вдруг полог палатки приподнялся, и атаманского полка хорунжий Владимиров, бивший в этот день ординарцем при главнокомандующем, вошел в нее.

– Ваше высокопревосходительство, – сказал он, – его светлость требуют ваше высокопревосходительство к себе.

– А ну его, – проворчал Платов, – чего еще им надо! – и стал одеваться.

С Платовым поехал Коньков. Было темно. Люди молча сидели у костров, изредка переговаривались отрывочными фразами, вспоминая, кого убили, кого ранили. Платов с ординарцем часа два пробирались, ища главнокомандующего. Кутузов сидел в избе за белым тесовым столом перед кипящим самоваром. На столе валялись бумаги, карты, конверты. Несколько офицеров генерального штаба и Уваров были тут же. Уваров был красен и надут: за тот поиск, который должен был дать ему большую славу и большие награды, Кутузов его разнес. Он находил, что гвардейская кавалерия и казаки могли сделать гораздо больше, могли решить победу в пользу русских и тогда не надо было бы отступать!

– Казаки! – сказал Уваров. – Казаки только грабили. У них нет дисциплины, они не могут действовать как порядочное войско. Это была толпа мародеров, а не кавалерия!

– Что же вы не сказали атаману?

– Атаман, ваша светлость, был пьян в этот день, – раздался чей-то свежий молодой голос из группы адъютантов и офицеров генерального штаба<sup>48</sup>.

Кутузов недовольно оглянулся и послал ординарца за Платовым.

Атаман не скоро приехал. Адъютанты острили: «Пока проспится – не скоро дело будет».

Наконец он явился, как всегда, в мундире, при орденах, в кивере, улыбающийся, готовый отражать нападки.

– Что вы там наделали, ваше высокопревосходительство? – хмурясь, спросил Кутузов.

– Вы изволили получить мой рапорт, ваша светлость!

– Знаю я эти рапорты. По рапортам одно, по донесениям тоже очень хорошо, а на деле грабеж, мародерство, безначалие... Что же это такое, войско или орда?

Платов потупился. Действительно, грабежом увлеклись немного. Но разве это такая беда?

– Точно, обозы пощупали, ваша светлость, но ведь я то, я вам скажу, где же казаку и взять в военное время себе справу? День и ночь на аванпостах да в партиях, поизносились, поистерлись, тоже, я вам скажу, надо и то в толк взять, что снабжают нас плоховато... Одежу имеем свою, а в военное время скоро ли из дома-то получишь. Я вам скажу, как и не позволить казаку пошарить, где что плохо лежит.

<sup>47</sup> Я не нанесу удар, уничтожающий мою гвардию. В восьмистах лье от Франции нельзя рисковать ее последним резервом (фр.).

<sup>48</sup> Чей это был голос, кто мог утверждать то, чего не было, – неизвестно, но клевета нашла себе место, и шестьдесят лет спустя «Московские ведомости» приписали неуспех Бородинского боя тому, что Платов – был пьян в день величайшей битвы 1812 года.

– Отлично! Значит, вы поощряете мародерство?

Не любил этого слова Платов. Мародерство могло быть у солдат, которых нельзя остановить во время грабежа, а казаки – другое дело.

– И потом, – добавил Кутузов, единственным сонным глазом впиваясь в донского атамана, – почему ваш корпус так широко хозяйничал в тылу за Беззубовом, не мог пройти дальше, не мог отвлечь внимание Наполеона на более долгое время. Вы могли решить победу!

– Я вам скажу, ваша светлость, что войска вице-короля выступили в защиту тыла, а без пехоты и артиллерии я не мог по ним действовать на столь пересеченной местности.

«Изворачивается, старая лиса», – думал Кутузов, и хотелось ему разнести в пух и прах атамана, попрекнуть его пьянством, приписать ему неуспех всего сражения. Но регалии на мундире Платова заставляли его сдерживаться.

– Все это так, – задумчиво проговорил Кутузов, – Но, ваше высокопревосходительство, я нахожу, что вам хотя в дни битвы и генеральных сражений надо быть невоздержней.

Вспыхнул атаман, хотел возразить главнокомандующему, хотел сказать ему, что он не смеет ему говорить такие небылицы, хотел он нарвать уши всем этим мальчишкам, что перемигивались и пересмеивались в углу, да вспомнил, что этим поставит он «войско в размышление, а себя в сокрушение».

Потупился только атаман, и грудь его стала неровно вздыматься от незаслуженного оскорбления.

– Завтра армия отступает. Ваш корпус остается на старом месте, в помощь вам я дам два егерских полка и тобольцев с волынцами. Да смотрите, ваше высокопревосходительство, – возвышая голос, договорил Кутузов, – чтобы я отступил спокойно и без потерь и боев. Быть может, я дам сражение под Москвой, силы армии нужны будут, нужен будет и отдых – вы должны мне его обеспечить.

Недовольный возвращался Платов из квартиры главнокомандующего.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Ну, наварили на Маланьину свадьбу, нечего говорить, хорошо удостоили! Их центр, слышно, спасен нашей атакой, а он, на-поди!.. Наполеона хотел взять голыми руками – извольте разрешить задачу: с шестью казачьими полками да четырьмя пехотными задержать наступающую после полупобеды армию».

Не мог успокоиться, не мог заснуть Платов в эту ночь. Бледное утро осветило побоище, осветило ряды трупов, сломанные лафеты и повозки, брошенные укрепления. Русская армия отступила. У французов все было тихо. Они чистились и оправлялись после боя. Казаки остались на бивуаке, поделили добычу и вдруг одиноко почувствовали себя без армии, без поддержки, лицом к лицу с неприятелем.

Теснее сжался арьергард, эта маленькая кучка перед великой армией.

А на другой день, двадцать восьмого августа, начался бой. Егеря Розена выслали цепь, казаки маячили лавой – но их теснили и они, сражаясь целый день, то кидаясь в атаку, то спешиваясь и стреляя, цепляясь за каждый куст, за каждую балку, отступали к Можайску.

Под вечер Платов написал главнокомандующему о положении дел: «Неприятель перед нами и в силе: по объявлениям же от взятых нами пленных, здесь сам Наполеон, Мюрат, Даву и Ней и вся та кавалерия, которая была 26 числа сего месяца у деревни Бородина. Я с арьергардом, по прекращении целодневного сражения, расположился, вышедши из леса, на высоте примерно от Можайска верст 15. Завтра, что последует, имею долг донести»...

Если бы Платов мог видеть, какой эффект произвел его рапорт в главной квартире, он бы, наверное, поставил себя «в размышление, а войско в сокрушение».

Дело в том, что: «примерно от Можайска верст 15» – выходило, в действительности, от главной армии версты три – какое же значение мог иметь такой арьергард? Какое спокойствие могло быть в армии, стоящей в трех верстах от неприятеля?!

– Нет, – сказал Кутузов, – он стар, и походы его слишком истомили. Ему нельзя командовать арьергардом.

В тот же день Платов получил предписание сдать свой корпус графу Милорадовичу.

Собрал своих детушек атаман, слезно простился с ними, обнял ординарцев, поцеловал Конькова, сел в кибитку и помчался на Тихий Дон.

– Стар я, говорят, сил нет... Посмотрим! – ворчал себе под нос донской генерал. – Подыму весь Дон от старого до малого и соберу такие силы казаков, от которых Наполеон убежит совсем вон из России. А ежели который найдется смышленный казачишка, что самого Императора французов в плен возьмет, – отдам ему в замужество дочь свою богоданную! Вот как будет... Посмотрим, кто из нас старье!

## XV

*...Тебя непременно спросят: «А что у вас на Руси?» Удивительно! Казаки будто не считают себя русскими, и в то же время целые полки их берегут Россию. Они стоят за Русь, они ее дети – все, от атамана до простого казака, – они русские; в них тоже православная вера, тоже рвение за честь Царя, но все спрашивают: «Вы русский? Вы из России?..» Странно!..*

*А. Филонов. Очерки Дона. Стр. 3, 4*

В ясное сентябрьское утро Коньков явился к новому арьергардному начальнику.

Милорадович, красивый молодой генерал, с открытым умным лицом, бойкий и веселый, сидел на лавке перед деревянным столом и что-то писал. Одет он был в мундир, во всех орденках, был при сабле. Шляпа с высоким пером лежала подле, шпага была одета, подбородок тщательно подбрит, изба была пропитана ароматом духов – это был щеголеватый гвардеец, собирающийся на бал, а не начальник арьергарда армии, стесненной обстоятельствами и принужденной отступать. Впрочем, Милорадович был всегда таков – подобно Мюрату, этот Баярд русской армии любил пышно одеться, любил пронестись на борзом коне вдоль позиций, закутанный в драгоценную шаль.

– А, господин хорунжий, пожалуйста...

– Ваше сиятельство, честь имею явиться... – начал было Коньков, но Милорадович перебил его:

– Все это я знаю, – а вот ваше имя и отчество?

– Петр Николаевич, ваше сиятельство.

– Ну вот, садитесь, дорогой Петр Николаевич, сюда. Сядем рядком и потолкуем ладком. Коньков не хотел было садиться, но новый начальник за рукав притянул его к скамье.

– Ну, как у нас казачки поживают?

Это «казачки», презрительно-уменьшительное, покорило ординарца донского атамана.

– Донские казаки, ваше сиятельство, жаждут чести еще раз сразиться за Москву, первопрестольный град, и грудью отстоять ее.

– Ну, этого не придется. Мы сдаем Москву.

И, как бы желая отделаться от тяжелых мыслей, он со свойственной ему живостью переменял разговор:

– Вы ко мне ординарцем назначены? Какой молодой – а уже и Анна и Владимир... Где это вы?

– Анну, – слегка оживляясь, отвечал Коньков, – получил я за Кореличи и Мир, а Владимира – за Молево болото.

«Ну что я еще буду говорить с ним, – думал Милорадович. – Хотя он и очень молодой человек и не слишком дик, но о чем говорить, право, не знаю...»

– Теперь можете быть свободны, а в одиннадцать часов явитесь за приказаниями.

Коньков вышел.

«Нет, – думал он, – этому куда же до Матвея Ивановича. Стелет-то мягко: «вы» да «вы», «пожалуйста», а какой с этого толк?»

Толку казакам действительно не было. Днем их передовое место заняли гусары и драгуны, а казаки были отозваны в тыл, но настала пасмурная, дождливая ночь, и казачьи полки по-старому вытянулись аванпостами у неприятельских бивуаков.

– Ишь ты, только, видно, на черную работу и годимся. Нет того, чтобы поручить какое-нибудь дело!

И полковники не торчали, как прежде, целыми днями в главной квартире, беседуя с Платовым и обучаясь у него военному делу и казацкой хитрости. Они сидели по полкам своим, хмуро смотрели, как гибли от простуды лошади и люди, и недовольно отступали. У них в эти тяжелые осенние дни не было такого ужасного чувства страдания при потере Москвы, какое испытывал всякий русский, для них Москва не являлась столицей родины, они готовы были сражаться за нее и умереть, но только по чувству долга, по своей обязанности.

Из казаков-ординарцев Милорадович оставил при себе одного хорунжего Конькова, особо рекомендованного ему Платовым. Скучно было молодому казаку среди чужих ему людей, без атамана, по-родному относящегося к нему. Милорадович был утонченно вежлив, но не допускал ни малейшей фамильярности, и Коньков, кроме как по службе, ни о чем с ним не разговаривал. Остальные ординарцы, эта плеяда искушенной опытом золотой дворянской молодежи, пылкой и легко увлекающейся, имела свой сплоченный кружок и не приняла в него казака. Впервые понял Коньков, что ни славные победы в минувшие войны, ни историческое прошлое Дона в глазах некоторых людей ничего не значили. Эти самые «сиповские» офицеры, которых он не Бог весть как уважал, смотрели на казаков полупрезрительно, именовали их «казачки» и признавали, что донцы годны только на черную работу, в разъезды, на аванпосты и для охранения транспортов и обозов. Не признавая за казаками военного образования, они отдавали должную справедливость их сметке и находчивости, и каждый из них старался иметь у себя в услужении или на ординарцах казака. Когда они узнали, что Коньков рядовым казаком начал свою службу, что он даже не уверен в том, дворянин он или нет, что родной дядя его служил в сипаевском полку урядником, а брат – дьячок в Вешенской станице, они стали его слегка сторониться, и прозвищем его стало «брат дьячка».

Коньков часто слышал, как один у другого спрашивал: «Кто сегодня при князе ездит? – «брат дьячка»? И не мог понять Коньков, что же унижительного, что худого в том, что он брат дьячка. Но натянутость отношений чувствовалась, и Коньков держался уединенно.

Чтобы понять такие отношения, надо посмотреть, какая и действительно была рознь между донским казачьим офицером и офицером регулярным.

Офицер павлоградского, северского и других регулярных полков имел свое родовое имение с двумя-тремя крепостных, имел с него доход, который проживал в кутежах, дорогих обедах и охотах. Солдат был его раб. Он был далек от него, он был сравнительно с ним «белой кости». Он мог служить ему примером, учить его, «снисходить» до разговора с ним, но стать с ним наравне не мог. Он кончил университет, в худшем случае – корпус или пансион, французский язык был ему знаком с детства: он был образован. Он шел служить потому, что его прельстил военный мундир, потому что в нем пылал патриотизм, желание славы, наконец, потому, что дворянину принято служить в рядах офицеров русской армии.

Не то совсем было у офицеров войска Донского. За исключением богатой и высокообразованной аристократии лейб-казачьего и частью атаманского полков, тянувшейся за регулярными, проживавшей сотни тысяч, имевшей такие же замки-поместья, крепостных, задававших балы и обеды, гремевшие по всему войску, за исключением их все остальные были народ небогатый. Заурядный офицер войска Донского имел именье у себя, тут же, на Дону, необшир-

ное, плохо обработанное за отсутствием крепостного труда. О роскошных барских домах и затеях бар крепостного времени он и не слыхивал. Его отец провел всю жизнь в боях: дрался и с турками, и с калмыками, и с кавказцами, ходил с Суворовым в Италию, делал походы с Краснощековым в Пруссию, дрался против Пугачева и Разина. Кровавые предания передавались из рода в род – от отца к сыну, от деда внуку – с тяжелой, острой как бритва, дедовской шашкой. Боевые песни убаюкивали его младенцем, боевые, тягучие, полные восхваления воинских подвигов песни слышал он и от станичных стариков, перед которыми играл на улице в айданчики. Верховая езда и стрельба из лука и ружья – была его школа, а старая протертая Псалтирь, преподанная кривым пономарем станичной церкви, была его наука. Он с детства болтал по-татарски, а иногда и по-турецки с пленными ясырками, оценивал лошадь по первому взгляду и ездил на ней без школы, без правил, правильно и умело. Юношей охота в степи, метание дротика делали его смелым и метким. Тринадцати, много пятнадцати лет он поступал простым казаком в служилый полк и нередко с места уходил в поход. Это была его военная школа. Здесь на практике проходила топография, и тактика, и артиллерия, и фортификация. Без карты и компаса донской офицер ориентировался на незнакомой чужестранной местности, без устава водил сотню, то раздвигая ее в лаву, то смыкая в колонны. Без понятия о траектории и сопротивлении воздуха заряжал и стрелял из орудий. На походе старый урядник, а то и бывалый офицер посвящал молодежь во все тайны военного искусства. Сметливый и любопытный от природы, он живо подмечал все нужное и накапливал себе новые и новые знания. За отличие или «по протекции» его производили в урядники, а потом и в хорунжие. Он надевал эполеты и жгуты из серебра; «из дома» старушка мать справляла ему тонкого сукна синий мундир, казаки ему снимали шапку, но видели в нем не человека «белой кости», не что-то высшее, благородное, а своего брата казака, отличенного за службу Государем. У него и товарищи были наполовину казаки.

Вечером в среду песенников, входили и офицеры, и они пели те же песни, потому что не знали других. Их грозно-унылый, с детства привычный донской напев был им дороже всего.

Коньков принадлежал к числу таких офицеров.

Петербургская жизнь немного обтерла его, отшлифовала, но в душе он остался простым, глубоко верующим, сердечно любящим казаком. И трудно ему было сойтись с ординарцами Милорадовича, любителями в картишки поиграть и нечисто поговорить про женщин, а Конькову, у которого все женщины воплощались в одной Ольге Клингель, тяжелы были такие разговоры.

Один ему понравился более других, и с ним он иногда разговаривал. Звали его Владимир Константинович Воейков. В нем было то же, что и в Конькове, такая же сентиментальность, любовь к природе, к лошади, к старухе матери, новгородской помещице, и к двоюродной сестре, имени которой он никогда не называл. И красив он был так же, как и Коньков, хотя красота его была в другом роде, нежная и чистая. Он сильно напомнил своими манерами и, главное, тихим голосом Ольгу Клингель, и Коньков стал искать дружбы с ним. Воейков не отказывался, но и не навязывался. Иногда вечером, когда в квартире Милорадовича все утихнет, они гуляли вдвоем и рассказывали свои приключения. Коньков, благодаря трем походам, которые он одолел, оказался гораздо развитее, зато Воейков брал образованием и начитанностью.

– Отчего вы всегда грустный и такой странный... Задумчивый вечно? – спросил его как-то вечером, бродя с ним по пыльной деревенской улице, Воейков.

– Так, есть причины, – уклончиво отвечал Коньков.

– Вы мне не доверяете? – сказал Воейков. – Знаете, со мной самим так бывает. Мучит что-нибудь, терзает, а расскажешь кому-нибудь, даже, представьте, поплачешь – и легче станет.

Коньков взглянул на этого хорошенького безусого мальчика и подумал: «Да, он может плакать».

– Еще бы не быть грустным, – сказал Коньков. – Наша армия разбита. Москва сдана и разграблена, что будет дальше – неизвестно...

– Победа! – уверенно заметил Воейков.

– Хорошо так! А вы думаете, легко мне было видеть погром Москвы. Пять месяцев тому назад я проезжал через нее: это был цветущий город, полный народа, говора, шума, бойкий, торговый! Всюду были лица, всюду была толкотня. В окнах лавок виднелись товары, ситцы, холсты, сукна, вина, мебель, картины. Колокола звонили так торжественно, кареты и пары цугом, сани, тройки – все это было роскошно и богато. А теперь? Я ехал тогда за вами по городу. Всюду грязь, слякоть. Хмурое небо словно плачет над нашим позором, материи, порванные и разбросанные здесь и там, разбитые бочки с вином, эта плохо вооруженная, пьяная чернь, что окружала нас порицаниями и хвалилась побить Наполеона. Сам Ростопчин, приниженный и угнетенный, – все это не такие картинки, которые могут развеселить.

– Будто позор Москвы вас мог так расстроить? Не вы ли сами говорили мне недавно, что вы удивляетесь рвению казаков и их горю при потере Москвы, которую они совсем не знали и которая для них не такая святыня! Нет, мне кажется, грусть ваша иного сорта.

– Иного? Да, если хотите.

– Отчего бы вам не поделиться со мной?

– Да? Поделиться? – задумчиво переспросил Воейкова Коньков.

– Как вы смешно это сказали. Вы мне поразительно напомнили одну мою хорошую знакомую, старинную приятельницу, друга детства... Я два года ее не видел, правда, но у меня так и стоит в памяти ее манера говорить, отвечать, а самой думать свою думу.

– Кто же это такая? Не секрет?

– Нет. Это Ольга Федоровна Клингель.

– Ольга... Оля... Ольга Клингель... – и волнении пробормотал казак.

– Вы знали ее? Вы были знакомы? Коньков овладел собой.

– Да, я был знаком с нею.

– Вот она тоже так иногда напускает на себя патриотизм. Я ее всегда знал за петербургскую немочку, умненькую, любящую родину, но не до крайности. В войну тысяча восемьсот седьмого года она даже и газет не читала, что пишут, где сражались, в войну тысяча восемьсот девятого, турецкую, финляндскую, тоже мало думала о войске. Теперь вдруг, слышу, с объявлением войны собралась моя Ольга Федоровна и сестрой милосердия ушла из родительского дома. И теперь где-то тут действует с полным самоотвержением...

Замолчал Воейков. Ни слова Коньков. Кругом тихо. В избах горят огни, уставшие за день люди укладываются спать.

– Вы не знаете, где она? – после долгого молчания спросил Коньков.

– Не знаю, право... А что?

– Господи!.. Да я люблю... Люблю ее! – стоном вырвалось у Конькова, и он, бросив изумленного Воейкова, убежал в свою избушку и захлопнул дверь.

Воейков не пошел за ним.

«Вот оно что, – подумал он, – вот и причина тоски. Как странно! Казак, простой, грубоватый, брат дьячка, хвастающийся, сколько французов и турок положил он «своеручно», и маленькая немочка, нежная и робкая... Ну, она-то, наверно, нет... Она его не полюбит...»

На другое утро, бледное и холодное, когда камердинер Воейкова тщетно пытался разбудить своего барина, разоспавшегося на мягких перинах, и уже десятый раз докладывал, что их сиятельство встали и вот-вот будут играть генерал-марш. Коньков, наглухо застегнутый, в походной форме, явился к Милорадовичу.

– А, здравствуйте, дорогой. Ну, как почивали?

– Покорно благодарю, ваше сиятельство.

– Вы дежурный, что ли, сегодня?

– Никак нет, ваше сиятельство. Я по личному делу.

Милорадович заинтересовался:

– Что такое?

– Позвольте, ваше сиятельство, мне вернуться назад в строй, в свою сотню. А вам другого ординарца пришлют.

– Что так?

– Конь у меня захромал, ваше сиятельство. Служить не на чем.

– Ну, это пустяки. Ведь у вас два. Да и у француза всегда можете взять. Я это казачкам позволяю... Это пустяки. И незачем вам в строю путаться. Тут вам и служба легче, и отличий больше получите.

– Ваше сиятельство, позвольте лучше в строй.

– Я вас не понимаю, хорунжий. Обидел вас кто? Нет, кажется, не слышал, служба легкая...

Что же, вы мной недовольны?

– Смею ли я, ваше сиятельство...

– И все-таки хотите в строй?

– Страшно желаю, ваше сиятельство.

– Ну, Бог с вами! Насильно мил не будешь.

Через час Коньков, ни с кем не простившись, ехал разыскивать свой полк. И радовался он, что уехал из чужого ему круга знатных персон, радовался, что не увидит он больше Воейкова, которому так глупо проговорился, радовался и тому, что в полку, бродя в партиях, он, быть может, и наткнется на нее... Ведь она тут близко! И шибко билось сердце молодого хорунжего, и волновался он, ожидая, что-то будет!..

## XVI

...Говорил ведь тебе, братец, я  
приказывал, —  
Не мечись же ты, мой братец,  
в французские лагеря,  
А больше того, мой братец, на их  
батареюшку,  
Хотел ты, мой родной братец, чин  
хорунжего,  
А теперича не будет твоей ни чести, ни  
славушки!..

### *Старинная казачья песня*

В осенний убор убрались леса и сады. Желтые листья березы, коричневые дуба, красные клена, и зелень елей и сосен, и чернота стволов и сучьев образовали такие красивые пятна, такие причудливые узоры, за которыми даже зоркий взгляд ничего не разберет. Поля стали желтые и черные, скучные и унылые, но зато лес и вблизи и издали был дивно прекрасен. Мягкие мхи, прилегающие к воде, усеянные листвой, нежили ногу; деревья пестрели своим убранством, и тишина стояла по лесу. Не пели птицы, не стрекотали кузнецы – упадет с легким шорохом лист, треснет веточка, и опять тишина, немая, бесконечная, таинственная тишина.

Такой тихий, по-осеннему убранный роскошный Лашкаревский лес прилегал и к каменному с мезонином господскому дому Лашкаревых. У пруда он оканчивался, и там начинался парк. Высокий забор из акаций составлял границу между лесом и парком. Парк состоял из прямых березовых и липовых аллей и был за лето 1812 года, бурное, тревожное лето, сильно

запущен. Дорожки поросли травой, павильон любви, когда-то чистенький и беленький, весь облупился; столбы и крыша обросли мохом, стриженная акация разлезлась длинными ветвями во все стороны и непроницаемой стеной отделила парк от леса.

Дом господ Лашкаревых, когда-то веселый и пышный, был без своего убранства. Мебель, портьеры, цветы из оранжерей перевезли еще в июне месяце в пензенское имение, а подмосковная стояла пустой до самого начала сентября. В первых числах сентября распоряжением властей дом господ Лашкаревых обратился во временный госпиталь на двадцать кроватей.

Бородинская битва дала массы убитых, но еще более раненых. Лазаретные фургоны, обывательские подводы, экипажи частных лиц не успевали свозить всех страждущих. Московские госпитали и больницы были переполнены офицерами и солдатами. Когда же до Москвы дошла роковая весть, что ее отдадут без боя, началась поспешная отправка больных в предместья и подмосковные. И дом Лашкаревых был обращен в больницу.

Вечерело. Больным только что роздали ужин, и молодая красивая сестра милосердия, худощавая и уставшая от непосильной работы, оканчивала ежедневную перевязку больных. Из бывшей столовой, теперь ампутиционной комнаты, внесли нового больного. Это был высокий, когда-то красивый казак атаманского полка. Ему только что начисто отняли по самые бедра обе ноги. Он был бледен, отпечаток скорой смерти уже лег на его худое лицо.

– Ольга Федоровна, – обратился доктор по-французски к сестре милосердия, – поговорите с казаком, утешьте его, ему два часа, не больше, осталось жить.

– Сейчас, – ответила Ольга Федоровна, ловко надорвала бинт, переложила надорванные концы направо и налево и завязала их тугим узлом.

– Хорошо так будет? – ласково спросила она раненого.

– Спасибо, сестрица. Совсем способно! Бог тебя наградит за твое доброе дело.

Ольга Федоровна встала и подошла к раненому. Он лежал на спине, накрытый синей французской шинелью, той самой, в которой его привезли. Шинель сейчас за бедрами круто падала вниз, образуя странную и непонятную складку, непонятную потому, что непривычно было видеть эту складку. Казалось, она и больного сильно беспокоила, по крайней мере, он смотрел внимательно на нее, пытался тронуть ее руками и не мог согнуться, не имея опоры внизу, у ног.

Ольга Федоровна поняла это и поправила своими нежными тонкими пальцами складку так, чтобы отсутствие ног не бросалось в глаза.

– Спасибо, ваше превосходительство, – тихо сказал казак.

Ольга Федоровна смутилась. Почему знает он ее титул? Почему не назвал он ее так, как все называют – сестрицей? Что-то знакомое видится ей в этом лице.

Казак сам разяснил ее сомнения.

– Вот где, барышня, Ольга Федоровна, – произнес он, – довелось нам встретиться!

Ольга Федоровна взгляделась и вдруг сразу узнала Какурина, вестового Конькова. Но как он изменился за эти полгода. Невозможно было узнать в этом грязном, загорелом, изведенном страданиями лице с перерубленным ухом прежнего красавца казака в кивере с голубым верхом, что нашивал ей от жениха цветы и конфеты.

– Ну, а что барин твой, Какурин? – сказала Ольга Федоровна, и невыносимая тоска виднелась во взоре.

Казак оживился:

– Барин! Пидра Микулич! Герой, одно слово. У него теперь Анна, Владимир, золотая сабля, не седни завтра Егория зашибут. Вот и теперь – ну, есть ли такой храбреющей души человек, как Пидра Микулич! Мы с ним вдвоем до Мюратова лагеря доезжали. Он на новом коню – Заметьте звать, чудное имя; ну, да кто же их разберет, почему так прозвали его...

– А Ахмет где? Жив?

– Жив, барышня! Слава те Господи, жив. Тоже конь добрый, участливый! Сели мы в ихних мундирах и поехали. *Qie vive* кричат, а Пидра Микулич как напустится на часового ихнего, да ну пушить его по-ихнему. Тот аж – на караул и замер. А мы дальше к ним. Все Мюрата искали-маялись, у меня сердчишко-то во где было, по-над шпорой. Объехали лагерь, назад обращаемся. Меня досада разбирает, ничего не взяли, а у барина белья совсем нетути. Это уж што подштанников, вторую неделю не носят, рубах скоро не станет – все поистлели. А тут, как назло, офицерик стоит и чемодан раскладает – и там туго наложено. Надо быть, краденое тоже! Я думаю: надо поразмыслить, где так ловко раздобудешь? У своих покрасть – по головке не поглядят. Я и приотстань от его благородия да к чемоданику – и ухнул на седло да ручкой на луку и чум-буром прихватил. Офицерик ровно с ума спятил, обалдел совсем. А сабля у меня своя была, казачья. Он как глянул да и крикнул: «Рюсь!» Я думаю: дело плохо – узнали! Выхватил саблю да офицера ихнего по башке. Тут всталошились, не приведи Бог что вышло. Кинулись на меня. Один, проклятый, чтобы ему на том свете, штык всадил повыше коленки да там в ране-то ровно шомполом так и крутит, другой выпал с пистолета сделал да в ногу попал. Тут мне бы совсем конец пришел. Саблей действовать неспособно, чемоданик мешает, а бросить его жаль, а они, нехристи проклятые, рады стараться, так на меня со всех сторон и бегут. Гляжу, а его благородие гневный на меня скачут. «Что ты наделал, мерзавец!» – кричат, да таким словом обозвали, какого я никогда от них и не слыхивал. Да как пошли молотить французишек саблями, перекрошили их страсть! Скатили меня за повод да за собой и потащили. Французы – за конями, а кони у них стреноженные да по траве далеко разбрелись, а мы пока что ускакали. Уж и пушил же меня за это дело Пидра Микулич! Я и про раны забыл. «Ты ранен, – говорят, – что ли?» – «Точно так», – отвечаю. Промыли они меня. Словно родного брата обняли да довели до Царева Займища, а оттоле вот вечером мужик меня на телеге доставил, да шибко, видно, растряс, потому вон она какая пакость вышла – обе ножки тютю!

– Ах, какой он сумасшедший! – воскликнула Ольга Федоровна. – А сам он здоров?

– Заколдован. Вот те крест, заколдован. Ни царапинки, ничего нет. Знать, кто Бога за него усердно молит – потому иначе как же!

– Веселый, поди-ка, с наградами-то?

– Веселый? Нет. Ни улыбки, ни смешка. Все грустят, все тоскуют. Про вас часто вспоминают. Порою заговариваются даже, ровно бы ума решились. После Молева болота заночевали мы на усадьбе, а там в оранжерее розы цвели, крупные да важные, дух от них так по всей комнате и льется. Вошли они да как обрадуются. «Вот бы Оля, – это они ваше превосходительство наедине так прозывают, – обрадовалась!» – говорят... А я не расслышал да и говорю: «Чего изволите?» А он: «Молчи, чертов сын», – да как глянули – хуже француза. Тоже с атаманом, денщик ихний сказывал, говорили раз! Наш-то плакал, а Матвей-то Иванович говорят им: «У, дура баба, чего рюмить, я тебе сам сватов пошлю!»

– Да про меня ли?

– Подлинно про вас. В Новочеркасске-то были, полковника Силаева дочка юлила-юлила, нет, мерси с карманом – ничего не очистилось!

– Ах он милый мой! – невольно вырвалось у Ольги Федоровны.

Казака обступили больные. Кто поздоровее – приплелся из соседних комнат. Всем интересно было послушать, что делается в армии.

– Глянь-ка, братцы, как рассуждает-то бойко, а сам-то еле на ладан дышит, – сказал молодой солдатик, упираясь ладонями в бока и внимательно разглядывая ампутированного.

– Так на то же они казаки.

– Но что же, что казаки? Нешто казаки не люди?

– Не люди и есть.

– Как не люди? – удивился бородатый ополченец с маленькой культяпкой вместо правой руки.

– Сказал тоже – не люди! Люди-то они люди, да только двужильные!  
– Как же это так двужильные? Нешто могут быть такие люди?  
– Отчего же нет, одна жила становая, значит, такая, всамделишная, а другая запасная.  
– Ну? – с сомнением тянет солдат и внимательно глядит на казака, как будто стараясь отыскать запасную становую жилу.  
– Послушайте, землячок, а что про Кутузова слышать?  
– Стоит с армией недалече отсюда, близ Тарутина. А насупротив его Мюратова кавалерия будет. Надо полагать, на днях атакуют.  
– Дай-то, Господи! Ну, а скажи, служивенький, неужели Москву так, зря отдали?  
– Без выстрела...  
– Ах ты. Мать Пресвятая Богородица! Как же оно так можно?  
– Ну, довольно вам говорить, – сказала Ольга Федоровна, – вы устали, вам отдых нужен.  
– Ах, ваше превосходительство, когда же и поговорить, как не перед смертью. Последний раз русскую речь послушать... А вот что, кабы священника мне – дюже желательно Святого Причастия принять.

Послали за священником.

Нервное оживление, вызванное страданиями, проходило быстро, слабость чувствовалась сильнее, больной затихал. Остальные медленно начали расходиться по койкам. Ольга Федоровна положила свою руку ему на лоб. Какурин лежал молча, и только отрывистые слова временами с хрипом вырывались у него.

– Ваше благородие... не ездите... Зараз застреляют... Эка храбрости... Нет, шалишь, брат... Что казак взял – его... – И вдруг, приподнявшись на руках, он дико оглянулся и испуганным голосом закричал: «Чемоданчик!.. А где чемоданчик?.. Господи, белья-то у Пидры Микулича...» – и оборвался.

Что-то подступило ему к горлу, он захрипел, раза два вытянулся и затих. Агония началась.

Когда минуты две спустя пришел священник, он приложил руку к голове и медленно начал читать отходную.

Как ни крепилась Ольга Федоровна, но она не могла вынести этого. Слезы выступили у нее на глазах, и, рыдая, вышла она на крыльцо.

И сейчас стихли рыдания, и, глядя очарованными глазами на парк, она сказала только:

– Боже, как хорош Твой мир!

Была теплая, ясная, лунная ночь. Темно-голубое небо все сплошь усеяно было звездами, месяц был окружен ясным ореолом и проливал кроткий свет, бросая густые тени кругом. И под серебряными лучами волшебной выглядела листва, неровно освещенная, разноцветная по тонам и по окраске. Запах леса, грибов и коры, запах цветов стоял кругом, и нежен и тепел он был. Тишина была поразительная, селение спало, нигде не было ни звука. Как нечто чудесное, виднелся посреди душистого, полного астр, шток-роз и доцветающей, густо разросшейся резеды резервуар фонтана и белая, вся облитая лунным светом статуя. Какие-то тени, чудилось, бродили и шептались между собой, вспоминая былые, давно прошедшие времена. И сильнее лился и лунный свет, и аромат цветов и запах леса, и все говорило о чудной жизни, о красоте смерти природы, о пылкой осенней любви. И страстнее сильнее, порывистее была эта любовь. Не было в ней той, нежности и ясности, не было той задушевности, что бывает весной. Словно в конвульсиях смерти, готовясь заснуть, отдавалась природа в последний раз, и, нарядившись и накрившись, окружив себя чудным темным небом с мириадами звезд, обливши страстным лунным светом, она говорила: «Приди и возьми – я твоя! Твоя... Я еще достаточно хороша!..»

И, точно сорвавшись с невидимых нитей, упала ясная звездочка, и яркий свет ложился за нею. Стоило сказать свое желание, пока звезда не скрылась, и желание исполнялось. И Ольга Федоровна сказала свое желание – увидеть Петра Николаевича.

Ведь он здесь близко, бродит где-нибудь в партии, ищет врага, ищет смерти. Зачем смерти? Разве плоха жизнь? Разве Оля его не любит так сильно, так нежно!..

И, влекомая чудным запахом и теплотой осенней ночи, в желании забыть душную атмосферу, полную людских страданий, в госпитале, сошла с террасы Ольга Федоровна и пришла к своему заветному уголку, на окраину парка, где парк сходил с лесом.

Сухие листья мягко шуршали под ее ногами, деревья протягивали ей свои ветви, а осеребренный лунным светом лес раскрывал свои объятия молодой женщине. И сильнее слышался гимн любви и гимн счастья, немой гимн ароматов и лучей. И чем больше была тишина, тем больше билось сердце, и смутная тревога подымалась внутри. Ольга Федоровна встала у калитки и загляделась на лесную дорогу. Сначала ярко освещенная, так что каждая травинка колеи, каждая пылинка искрились и сверкали, она вдруг сразу становилась темной, и далеко-далеко светлой точкой горел выход из нее. Вот выход заслонила тень, и ничего не стало видно.

Но ночная тишина нарушилась. Конский топот раздался по дороге, лес пробудился, эхо отдало шаги в обе стороны, и лес заговорил. Быстро кто-то едет. «Это он!» – сказала сердце и не могло ошибиться. Иначе зачем бы была в нем такая тревога, зачем был бы разговор с Какуриным; упала бы разве звездочка и разве манил бы так темный, таинственный лес?

Что это – сказка, или сон волшебной ночи, или мечта наяву! Но только это он, это его конь; только его приближение можно чувствовать всем телом, только из-за него колени дрожат, и губы жаждут поцелуев, и все говорит: и щеки, и нежная шейка, и девическая грудь, и все, и все...

Но это не он!..

Французская меховая шапка надвинута на самые брови. Ярко блестят подбородни, синяя шинель наглухо застегнута, и воротник поднят, и посадка не казачья – широко расставлены ноги, и не Ахмет, а чужой, незнакомый золотистый конь бежит по дорожке. О, луна! Зачем обнажила ты обман! Зачем рухнули мечты... Это враг! Надо бежать. Но Ольга Федоровна не бежит, силы изменяют ей! Разочарование подкашивает ей ноги, все мутится и тускнеет в ее глазах.

– Послушайте, барышня, скажите, здесь нет госпиталя, куда моего казака Какурина свезли?

Его голос!..

– Петрусь!

– Ольга, милая, ненаглядная!

И он уже на земле, он в своей страшной меховой шапке перед ней, казак ведет лошадь по дороге, а он, настоящий он, с его губами и нежными усами, с его ароматом молодости и силы, обнимает ее. И как тонкая былинка склонилась она ему на грудь, и он обнял ее, такую стройную и нежную, и прижал ее к себе.

– Милый, дорогой, не забыл... Любишь?

И поцелуй, сладкий, нежный поцелуй, поцелуй любви и счастья.

– Разве могу не любить. Я все молился за тебя – все любил...

– И ни одной весточки.

– Оказии не было. Дорогая, подумай...

– Ты похудел. К тебе идет эта шапка! Казак мой, ненаглядный, милый... Куда же ты ехал?

– В госпиталь, куда отвезли моего казака.

– Казак твой умер...

– Умер? Царство небесное.

Одну секунду пролетела грусть, как облачко в ясный летний день, и сейчас же исчезла она и растаяла. Что значила смерть перед всемогущей любовью!

– Не грусти. Я с тобой теперь. Не надо грустить, когда так любишь, мое солнышко ясное.

– Как ты здесь?..

– Ах, тяжело рассказывать! Берг все рассказал тогда... В тот ужасный день... Не знаю, право, что он рассказывал такое, но меня нигде не стали принимать... От меня сторонились. Я все сносила. Ведь я за тебя страдала, за моего милого Петруся... Пстой, дай досказать, ну, довольно, довольно...

Она отбивалась от его поцелуев, а он целовал ее губы, щеки, шею, целовал розовое ухо и черный локон.

– Ну, оставь. Разве можно так? Сломаешь. Ты ведь сильный... А тут война. Я в сестры милосердия... Все, как посмотришь-то на чужие страдания, легче станет.

– Ты страдала?..

– Как же, ведь о тебе ни весточки, ни слова, ничего. Не знаю даже, жив ли ты. А я тебя полюбила.

– За что?

– Разве любят за что? За все. Любовь разве спрашивает. За кудри твои русые, за глаза твои серые, за губы, милые, родные, за шею, за силу, за все... – И она целовала его и, прижавшись к нему и обняв, вдруг откидывалась и ясным взором смотрела ему в глаза... – Мужчина!.. казак!.. муж! – и быстро падала на его высокую грудь и, как кошечка, ластилась и извивалась...

– А Платов что?

– В немилости. Поехал на Дон собирать полки.

– За что?

– Его оклеветали. Сказали, будто он был пьян в день Бородинского сражения.

– Боже мой!

– А как твой папа?

– Скучает, бедняга. Ему тяжело без меня. Он хороший. Он один ничему не поверил, что ему говорили, и тяжело ему было, а отпустил все-таки. Понял, что мне легче так-то будет, у дела.

– Добрый старик!

– Слушай, ты долго останешься у меня?

– Как позволишь.

– А тебе как надо?

– Завтра к вечеру надо быть в Стромилловой деревне. Послезавтра – сражение.

– Сражение?! Береги себя, Петрусь, ненаглядный...

Нахмурился казак.

– Милый! Для меня... – И горячий поцелуй ожег его губы. И эта нежно любимая женщина, предмет мечтаний в далеких поисках и на сырых бивуаках, целующая его поцелуями любви, и воздух теплый, ароматный, и тишина уснувшего сада, и сладкий шепот нежных уст – все говорило о любви, все жгло его сердце и возбуждало нервы. И забылись тяжелые походы, ушли куда-то далеко неприятности и обиды, исчезли вечные тревоги и волнения, усталость и голод – и тепло, радостно было молодому хорунжему с этой любящей, взволнованной волнением любви девушкой. И бежали часы, лились рассказы о петербургских интригах, о сражениях, об орденах.

– А где Ахмет?

– Он остался на бивуаке, близ Стромилова.

– А это что за лошадь?

– Занетто.

– Откуда она у тебя?

– Достал.

– Купил?

– Нет. Не спрашивай, дорогая, этого нельзя знать женщинам.

– Но почему? Ну, скажи, я так хочу.

- Ну, право, оставь.
- Нет, скажи теперь непременно. Мне хочется знать. Я любопытна.
- Любопытство большой порок.
- Ну все равно. Ну скажи, голубок мой радостный! – И она прижалась и ластилась к нему. – Не скажешь? Рассержусь. Ну что за тайна.
- Это лошадь французского офицера, лейтенанта Шамбрэ.
- А он где?
- Я убил его под Кореличами и взял его лошадь, – тихо сказал Коньков.
- Убил!

Она отшатнулась от него. Ее милый, такой нежный и ласковый, – убил! Это ужасно! Страшно подумать.

– Вот видишь, дорогая. Как же мне быть. Ведь это обязанность моя. Убивать на войне надо.

– «Надо убивать»! Как ужасно звучат эти слова. Он был стар или молод?

– Молод. Красив.

– Быть может, и у него невеста есть?

– Он женат...

– Бедная... Зачем ты это сделал?

Поникнул головой Коньков. Слезы выступили на глазах у девушки.

– Боже, как война ужасна! Но хорошо, что ты жив, мой радостный, ненаглядный! – и она кинулась ему в объятия, всем телом прижалась к нему и покрывала его всего своими поцелуями; слезы еще текли по ее лицу, а губы уже улыбались, и счастье светилось в глазах.

И темный лес задумчиво шумел сухой листвой над их головами, и чутко насторожил уши золотистый Занетто, и крепче захрапел уставший вестовой казак, сильнее полился аромат цветов, и слаще стали лучи томного месяца...

Уже светало. Предметы стали ясно видны, когда Коньков простился с Ольгой Федоровной. И долго стояла она, взволнованная горячими поцелуями, но чистая и святая, и смотрела, как медленно улегалась пыль за двумя всадниками. И дорог, до безумия дорог был один из них ей – тот, что Прекрасно сидел на золотистом коне...

Возвращаясь, она встретила похороны Какурина. Она перекрестилась и ничего не почувствовала: ни жалости, ни сожаления – все-все победила и залила собою любовь.

## XVII

*Толкуй казак с бабой.*

*Казачья пословица*

– Матрена Даниловна, неужто правда то, что вы говорите? – спросила полная и высокая, с плоским широким лицом, немолодая казачка, закутанная в пеструю шаль, жена есаула Зюзина.

Матрена Даниловна Кумова, хорунжиха, невысокая, сморщенная старушонка, бойкая и крикливая, поспешно ответила:

– Что же, я брехать, что ли, буду? За такую брехню никто не похвалит... Да пусть мне на том свете не естся и не спится, коли не правда... Да ты слушай, дальше-то что... Молодой Каргин, слышь, женится на ней на будущей неделе... Ловко!

– Этого, мать моя, давно ожидать надо-то было. Ведь Каргина-то из сипаевского дома палками выгнать нельзя было!

– Ладно! Много ты понимаешь! Да кабы не то, отдали бы разве Марусеньку за Каргина-то? Да еще без отцовского благословения.

– Чем Каргин не партия. По нынешним-то походным временам неслужилый муж куда веселее. Его и не убьют, да и думать о нем не надо.

– То-то и оно-то! – торжественно провозгласила хорунжиха. – Одного муженька убили, как мы за другого примемся.

– Ну да что ты неладное, мать моя, говоришь.

– Разве не слыхала, что сипаевским лошадям давно пора хвосты резать<sup>49</sup>.

– Да разве Маруся?

Хорунжиха заговорила таинственным шепотом:

– Рогова помнишь?

– Ну?

– Хаживал к ним, женихом считался, совсем дело слаженное, решенное. Да и как не отдать девку за такого хвата! Об весне-то, в мае, что ли, месяце, он и соблазни девку. Девка, известно, глупая, ну и опять романы почитывала, да по-иностранному говорила – все к одному. Рогов уехал, да, слышно, в июле и убит, и старик Сипаев отписал так, что женишок, мол, готов... Ну, а Маруся полнеть начала, да там разные приметы. Тетушка-то Анна Сергеевна аж сомлела, как узнала...

– Вот-то грех, – сказала есаульша и любопытными глазенками уставилась на рассказчицу.

– То-то что грех. Однако Анна Сергеевна, сама знаешь – бой-баба. Ну, ласкать Николеньку-то Каргина. А он «болезнькой» казак, да теперь, как отец-то уехал, он и размяк совсем. Его долго ли обмануть. Тут сватов позаслали, сейчас стговор да рукобитье, и свадьбу вот чрез неделю готовят.

– Ах, мать моя! Сраму-то сколько. Ведь до дела-то как дойдет, что будет! Неужели гостей сзывать будут да песни старые петь!

– Будут, мать моя! Будут. Свахой-то Анна Сергеевна, она же ей и тетка, да и всему делу зачинщица! Она втолкует, а Каргин разве поймет что? Он ведь ровно телок несмышленный. Его всякая проведет.

– В народе-то говорить, поди, будут. Узнает. А и узнает – смолчит. Да еще как бы его на войну не уперли, слыхать, дела наши плохи, все бьют да бьют казаков. В каждом доме, глянь, упокойник аль больной, до свадьбы ли будет.

– Ловкая эта Анна Сергеевна! – с восхищением промолвила есаульша. – Ее на это взять – хват, а не баба.

– Она оборудует. Ну, Матрешенька, бывайте здоровеньки, и то заболталась я, а мне надо арбузы присмотреть, которые поспелее отобрать пора.

– Ну, Маруся! Драла, драла нос-то! Тону-то задавала – на-поди!

– Может, еще люди и брешут.

– А может и неправда, – согласилась хорунжиха, – греха на душу не возьму.

– Ну, бывайте здоровеньки.

– Бывайте здоровеньки, – и хорунжиха, сопровождаемая хозяйкой, вышла с крыльца на пыльную и жаркую улицу Маруся действительно выходила замуж за Каргина, и причиной скорой свадьбы был ее «грех». Как оно случилось – Маруся и сама понять не могла.

Соловьи ли слаще прежнего пели в вишневом саду, воздух ли был ароматный, яблоней ли сильно пахло, Рогов ли лучше казался, слаще ли были его речи, тяжелая разлука перед войной, но только Маруся сдалась на красивые речи, сдалась на льстивые увещания, да и не много она понимала... Она поняла только три месяца спустя, когда пришло с командой раненых лейб-казаков известие, что Рогов убит наповал, и тогда-то с ней самой произошла перемена.

Веселая Маруся загрустила, затосковала и в один из душных летних вечеров пошептала с Анной Сергеевной. Анна Сергеевна в ужас пришла, но не сробела. Она разбранила девушку,

---

<sup>49</sup> На Дону обрезать лошадям хвосты – то же самое, что в России вымазать дегтем ворота.

даже побила ее сгоряча, Маруся все перенесла, теперь она поняла, что начинается что-то ужасное, позорное, за что лошадям хвосты режут. И отчаяние напало на нее, но не надолго. Не такова была Маруся, чтобы долго печалиться! Странное дело, то, что она будет матерью, наполнило ее сердце радостью и гордостью. Притом же Анна Сергеевна нашла и исход неловкому положению. Что Каргин – казак несмышленный, это знала и Маруся, обмануть его легко... Но... но ей тяжело было воспользоваться наивностью своего друга, своего Николеньки, и пустить на его дом худую славу.

Одно время она даже совсем отказалась.

– Пусть будет так... – сказала она тетке, усиленно помешивая сироп в медном тазике.

– То есть как это так? – ядовито спросила Анна Сергеевна.

– Ничего пусть не будет, – молвила Маруся и усмехнулась простой и доброй усмешкой.

– Ничего не будет! Ишь ты! Вширь не по дням, а по часам растешь. Здорового казака сделаешь, а не ничего.

– Я не про то, тетя! – сконфузилась Маруся. – Пора вишни класть?

– Нет, погоди.

– Да уже тянется, тетя.

– Тянется, да не так, ты помешивай, не ленись.

– Я хочу казака. Пусть такой здоровый бутуз будет, толстый, мягкий... Я его сама бы и кормила, – и Маруся оглянула свою высоко поднявшуюся грудь.

– Как же без отца-то будет?

– Так ведь отца убили.

– Нельзя так, Маруся. Вот теперь сыпь ягоды-то – время.

– Но, тетя, мне жаль Николая Петровича.

– Чего его жалеть-то. Если бы силком его гнали, а то сам просит и торопит-то сам. Да и не поймет он ничего.

– Как не понять, тетушка. Это всякий понимает.

– Ну, поймет, за косы отгаскает, больше того не будет. А все грех прикрыт.

Замолчали обе. Жаркое августовское солнце обливало их чистые белые платья. Маруся со спутанными, упрямыми волосами на голове, с добрыми серыми глазами, была все так же прекрасна. Даже эта роковая задумчивость шла к ней... Она вся ушла в медный тазик, поставленный на маленькой печурке в центре ягодного сада, и глядела, как медовый сироп краснел от ягод и ягоды разбухали и становились больше и больше.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.